



Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

# Канадская новелла

Хью Гарнер

Маргарет Лоренс • Джойс Маршалл

Фредерик Филип Гроув

Питер Беренс • Элистер Маклеод

Маргарет Этвуд • Ив Терио

Жерар Бессет • Наим Каттан

Жан-Жюль Ришар







Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

Hugh Garner  
Margaret Laurence  
Frederik Philip Grove  
Joyce Marshall  
Peter Behrens  
Alistair MacLeod  
Margaret Atwood  
Ives Theriault  
Gerard Bessette  
Naim Kattan  
Jean-Jules Richard



# Канадская новелла

*Перевод с английского и  
французского*

*Составление В. Каспарова,  
В. Орлова, Ю. Родман*

*Предисловие Олега Васильева*

Москва  
«Известия»  
1986

И (Канад)  
К19

*Главный редактор Н. Т. Федоренко*

*Обложка художника С. Пархомовского*

*Рецензенты Н. Ванникова, Ю. Разнотовская, В. Ерофеев*

© Оформление, предисловие, составление,  
перевод на русский язык издательство  
«Известия», журнал «Иностранная лите-  
ратура», 1986

## Утверждая национальный характер

Суровая тундра на севере, благодатные леса, гладь многочисленных озер, плодородные хлебные поля, городские конгломераты на юге и вода, вода со всех сторон — Великие озера, Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый океаны. Не случайно говорят о ней — «от моря и до моря». Такова Канада — с огромными просторами и пестрой географией. Наряду с высокоиндустриальными районами в стране немало земель, где на дальнем расстоянии друг от друга одиноко разбросаны фермерские хозяйства. Дух первопроходцев, покорителей суровых земель, и по сей день жив в национальном самосознании канадцев. Жизнь страны во всем ее своеобразии, становление национального характера, трагические конфликты человека с природой, столкновение поколений, поиски счастья среди бездуховности и бездумья — вот наиболее частые темы произведений канадских писателей.

Канадская литература сравнительно молода, как и сама страна. Немногим более ста лет назад Канада обрела свою государственность — получила статус доминиона. И лишь в нынешнем веке стала формально независимым государством. Но если на протяжении своей истории она испытывала влияние — и экономическое, и культурное — двух европейских держав — Великобритании и Франции, колонией которых она являлась, то ныне она все более становится экономическим и культурным придатком своего южного соседа — Соединенных Штатов. И в то же время история «страны кленового листа» — это постоянное стремление к независимости и самобытности, становление национального характера.

При всей своей молодости канадская литература сумела познакомить читателей с такими произведениями, которые обогатили национальную культуру страны, помогли осмыслить исторические перемены в ее судьбе. В основе своей ли-

тература Канады реалистична. И наиболее видные художники слова стремятся реалистически осмыслить прошлое и настоящее, выявить и подчеркнуть национальный характер своих соотечественников.

В Северной Америке есть люди, которые не верят в развитие самостоятельной литературы в Канаде. Они готовы спасовать перед натиском американской книжной продукции, ссылаются на наличие «двух Канад» — английской и французской, культуры которых росли в различных условиях, под разным влиянием и якобы трудно совместимы. Но жизнь, утверждение демократической тенденции к национальному единству берут верх — канадская литература живет и развивается. Во всех книжных магазинах страны на видном месте располагаются полки под названием «Канадиана». Речь идет о художественной прозе, поэзии и документалистике, написанных канадскими авторами и посвященных своей стране. И там все чаще встречаются взаимные переводы авторов из «двух Канад». Так проявляет себя общность интересов англоязычных и франкоязычных писателей, демонстрируется отраженное в литературе единое понимание характерных черт канадцев.

Нынешнюю канадскую литературную сцену отличает расцвет «малого» жанра. Короткие новеллы печатают многие журналы, все в большем количестве издаются сборники, антологии рассказа. Выбрать из этой ниагары названий наиболее представительные новеллы — задача непростая. Помогают сами авторы, их авторитет и популярность — в этой книге собраны в основном маститые писатели, зарекомендовавшие себя серьезной и углубленной разработкой канадской темы.

Таков один из старейших писателей страны Хью Гарнер, автор не только романов, но и чрезвычайно популярных рассказов. В «Рыжем скакуне» автор выразительно показывает характеры соотечественников в борьбе с бушующей стихией. В них видны общенациональные черты канадцев, особенно жителей отдаленных районов — волевых, внешне несуетных, готовых всегда прийти на выручку.

На фоне трудного бытия глухих уголков Канады — а именно там разворачивается действие многих рассказов — происходят драматические события. Борьба со стихией, которая зачастую грозит смертью, выявляет силу и мужество человека. Диалектика взаимоотношений людей и природы — тема рассказа Фредерика Филипа Гроува «Снег». При всей трагичности истории веришь в жизнестойкость, силу простых людей, затерянных в глухой дали.

Но не только Канада глухих углов, без достаточных временных вех, служит местом напряженных повествований. В других рассказах время действия определено более четко, так же как и детально разработанный социально-бытовой контекст. О «канадской мечте», отчаянных попытках героя найти свое место в жизни рассказывает популярная в стране писательница Маргарет Лоренс. Однако ее герой Крис терпит фиаско, ибо все его планы заведомо обречены на неудачу, расчеты — бессмысленны, а отважные и пустые всплески его фантазии «бессильны перед лицом депрессии, охватившей мир и его самого». Его разум не может смириться с тем, что люди сознательно убивают друг друга на полях сражений второй мировой войны. Рассказ заканчивается помешательством Криса.

Другую грань общеканадской проблемы высвечивает более молодой, но уже снискавший популярность автор Элистер Маклеод. В его рассказе о семье рыбака «Катер» отец и мать — носители традиционного начала, но жизнь не стоит на месте. Ресторан, американские туристы вторгаются в устоявшийся быт рыбацкой деревушки. И вот уже дочери рыбака одна за другой идут работать в ресторан, находят себе спутников жизни и разъезжаются по белу свету, чтобы никогда больше не вернуться под отчую крышу. Гибель старого рыбака в разбушевавшемся море — это и гибель традиционного уклада, спасти который безуспешно пыталась мать.

Под некоторой сдержанностью персонажей многих рассказов, их внешней бесстрастностью скрываются глубокий душевный разлад и неудовлетворенность. Вырваться к лю-

дям, за пределы узкого домашнего круга, стать полезной ближним стремится героиня рассказа Джойс Маршалл «Старушка».

Маргарет Этвуд — одна из наиболее активно работающих писателей — приобрела широкую известность в середине 70-х годов. Она — поэтесса, романистка, эссеистка, новеллистка. В ее творчестве — биение пульса современной жизни вместе со всеми ее сложностями и противоречиями. Героиня рассказа Маргарет Этвуд «Украшения из волос», казалось бы, достигла всего в жизни — стала «довольно авторитетным специалистом по так называемым «домашним писательницам» XIX века, у нее милый, состоятельный муж, хорошие дети. Но в душе ее не утихает боль — ее предал любимый, и хотя было это в юные, студенческие годы, мысленное, горестное прощание с ним длится всю жизнь.

Французская часть сборника открывается рассказом Ива Терио — одного из наиболее известных франкоязычных писателей Канады. Для его творчества характерно сочетание критического взгляда на окружающий мир с поисками героя вне современного механизированного общества. Поэтому в его произведениях фигурируют представители коренного населения страны — эскимосы, индейцы; действие происходит в глухих уголках Канады, где еще не разрушены связи человека с природой. Для Терио характерна своеобразная авторская интонация, неожиданное вторжение воображения, фантазии в общем-то в реальный мир. Рассказ «Остров-невидимка», давший название одному из сборников писателя, — своего рода притча о поисках счастья, достичь которого дано лишь по-настоящему любящим друг друга людям.

Тема равнодушия, одиночества в равной мере болезненна как в произведениях англоязычных, так и франкоязычных прозаиков, ибо она отражает общую проблему всего западного мира. Рассказ «В Монреале» Питера Беренса, которым молодой писатель уверенно заявил о себе, — о драме людей, затерянных в большом равнодушном городе. Тонко и ненавязчиво решается тема одиночества в рассказе «Продавец игрушек» Наима Каттана. Героя привлекает симпатич-



ная женщина, но она жестоко и легкомысленно забывает о нем, когда наступает минута расставания. Одинок и жалок старик в рассказе Жерара Бессета «Горчичник». Он обречен на непонимание в своем доме, старость его печальна. Несмотря на некоторую жестокость, рассказ Жана-Жюля Ришара «Парень думает о милой» пронизан искренностью и любовью к простым людям канадской глубинки.

Разные писатели и разные индивидуальности. Но всех их объединяет реалистическое направление творчества, неподдельный интерес к простому человеку-труженику. Представленные в этой книге рассказы убеждают нас в реальности существования канадского национального характера, который складывался в упорной борьбе за независимость, за освоение природных ресурсов страны, развитие торговли, повышение жизненного уровня, за добрососедские отношения с другими странами, за миролюбивую внешнюю политику.

*Олег Васильев*

# Хью Гарнер

## Рыжий скакун

Солнце прожгло дыру в небе, и поток тепла хлынул на лесные прогалины. В неподвижном воздухе притаилась тревога, будто все живое насторожилось, ожидая неведомой беды от этого безветренного дня. Марсель Бурдо то и дело бросал тяпку между рядами картошки с пожелтевшей ботвой и смотрел на северо-запад, вглядываясь в небо над верхушками елей и пихт.

Лесистые холмы, окружавшие Гаспе Кост и небольшой расчищенный участок пахотной земли, казались толстыми складками пыльного, местами облезшего мехового ковра, расстеленного руками преданного забвению великана. На ближних и дальних холмах, теснивших узкую долину, где стояла ферма, желтел густой лес, расцвеченный все еще яркой зеленью хвойных деревьев.

Марсель оперся на тяпку, снова посмотрел на небо и перевел взгляд на дом у проселочной дороги, построенный из нестроганых досок его руками. Жена и дети сновали в тени между домом и конюшней, до него доносились их приглушенные голоса и беззаботный смех. Хорошо, что они не разделяют его опасений, но сам он не мог отделаться от ощущения, что над долиной нависла какая-то угроза, будто она прогневала неведомого бога.

Марсель снова принялся окучивать картошку, он изо всех сил налегал на тяпку, надеясь, что уставшие руки и вспотевшее тело помогут ему избавиться от беспокойства, овладевшего им с раннего утра. Дойдя до конца ряда, он передохнул и вытер платком лицо. Но, бросив взгляд на крошечное пастбище, где паслась его старая лошадь, увидел

подтверждение своим дурным предчувствиям: встревоженный конь стоял, прижав уши, в углу пастбища, у самой ограды, и бил передними копытами по траве.

Вглядываясь в тусклую голубизну неба, Марсель старался отыскать признаки надвигающейся бури. И по-прежнему видел только белый дрожащий диск солнца да несколько прозрачных кучевых облаков, повисших над выступом холма. Стоял обычный августовский день — сухая, жаркая погода уже почти две недели душила Восточную Канаду. И особенно тяжело было здесь, в нескольких милях от залива Святого Лаврентия, где густые леса преграждали путь спасительным ветрам с моря.

У Марселя пересох рот и запершило в горле, обрадовавшись предлогу, он бросил тяпку и пошел домой. Жена оторвалась от шитья и пристально посмотрела ему в лицо. По ее глазам он понял, что не сумел скрыть страх.

— Марсель, как картошка? — спросила она по-французски с нотками почтительности в голосе, хотя они прожили вместе уже двенадцать лет.

— Сильно пожелтела. Правда, как-то на днях я выдернул куст, вроде бы все в порядке.

— Не дай бог пропадет! Нам никак не прожить зиму без картошки.

— Гроза, видно, будет, чувствую, что будет. Дождь нужен позарез.

К вечеру Марсель кончил окучивать картошку и после ужина присел к радиоприемнику; нью-брунсвикская станция передавала какую-то жалобную песню в исполнении гнусавого певца, старательно подделывавшегося под ковбоя и сопровождавшего свое пение унылым аккомпанементом на второсортной гитаре.

По вечерам, когда Марсель отдыхал, ему верилось, что усилия двенадцати лет не пропали даром. В первые годы у него опускались руки: лес стоял стеной, и результаты многочасовой дневной работы казались ничтожными, но мало-помалу, несмотря на холод, голод и бедность, небольшой расчищенный участок стал походить на ферму.

В углу комнаты, единственной на первом этаже их дома, Антуанетта поставила корыто на пол и купала младшего из пятерых детей. Не считая жены и детей, достояние Марселя было весьма скромным: десятилетний гнедой мерин без родословной, низкорослая холстейнская корова, двухсотфунтовый поросенок, откармливаемый на зиму, несколько кур, кошка и полудикая сука колли. Марсель владел пятьюдесятью акрами оплаченной земли, пятнадцать из которых ему уже удалось расчистить, он построил небольшой, но теплый дом, бревенчатый амбар, купил три железные кровати, деревянную плиту для готовки, радиоприемник и швейную машину. Не так уж много за двенадцать лет тяжелого труда, но все-таки достаточно, чтобы мужчина мог испытывать чувство удовлетворения в спокойный вечер и сознавать, что добился обеспеченности в битве, где тысячи других потерпели поражение.

Антуанетта уложила наверху детей, подвинула стул поближе к радиоприемнику и принялась выкраивать заплаты из старых рабочих брюк Марселя, чтобы починить брюки старшего сына.

Они сидели в сгущавшихся сумерках, перебирали маленькие происшествия, наполнявшие их жизнь, и радовались покою, воцарившемуся в комнате после того, как дети легли спать. Ковбой допел песню, началась передача танцевальной музыки в исполнении торонтского оркестра. Ударник бесцеремонно врвался в их разговор. Стало совсем темно, Антуанетта уже не видела шитья, она зажгла керосиновую лампу и поставила около швейной машины.

Прошло еще полчаса, Марсель поднялся наверх и лег спать, скоро Антуанетта последовала за ним.

Марсель проснулся в темноте с ощущением, что случилась беда. Осторожно встав с постели, он взял со стула часы и подошел к окну, откуда сочился серый свет. Стрелки показывали двадцать пять минут четвертого. Марсель взглянул на темное небо и с облегчением увидел серебристый узор, выложенный точечками звезд.

Торопливо натянув брюки и башмаки, он спустился по

лестнице и вышел во двор. Колли на негнущихся ногах неохотно поплелась за ним по узкому проходу к амбару. Там все было в порядке. Марсель обошел небольшое строение и на минуту остановился, разглядывая пастбище. Лошадь и корова, вопреки обыкновению, жались друг к другу в ближайшем к дороге углу, положив головы на верхнюю слегу ограды. Он подумал, что поблизости бродят медведи, и старательно оглядел окрестности в надежде приметить черный силуэт. Но ни один бугорок не нарушал привычного вида полей.

Марсель стоял неподвижно, стараясь угадать, что означает разлитая вокруг тревога, и внезапно понял. Он втянул прохладный ночной воздух, и на мгновение, пока он не обернулся назад, сердце его остановилось. Из долины доносился едва ощутимый запах горящего дерева, с севера явственно тянуло дымным смрадом, пахло рыжим скакуном — лесным пожаром.

Взглянув на гряде холмов, он увидел то, чего не мог разглядеть раньше: тонкую изогнутую розовую полосу, уходившую на северо-запад и ослепительно сверкавшую во мраке ночи. Марсель поспешно вернулся домой, разбудил жену и без лишних слов сказал, что ей делать. Пока она торопливо одевалась в темноте, он побежал за лошастью.

На все приготовления ушло полчаса. Через тридцать минут лошадь была привязана во дворе и запряжена в фургон, где громоздились швейная машина, радиоприемник, связанный поросенок и ворох одежды, а на узлах в ожидании сидели полусонные дети. Корова, привязанная к дверке фургона, тоскливо мычала.

Высоко в небе уже плыл густой дым, и черные ключья летели по двору. Изредка небольшое облачко золы опускалось на фургон. На холмах, казалось, кипел огромный котел, юго-восточный ветер раскачивал ветви деревьев и устремлялся в безвоздушное пространство, оставленное реющим пламенем скачущего по лесу пожара.

Марсель попытался на глаз определить, куда движется огонь, бушевавший примерно в миле от их дома. Пламя

стремительно перескакивало с гряды на гряде, и основной поток огня неминуемо должен был прокатиться по цепочке холмов, расположенной на милю севернее его крошечной фермы. Глядя на вырывающиеся тут и там языки пламени, увенчанные султанами черного маслянистого дыма, Марсель решил, что ширина огненной реки скорее всего не превышает полутора миль. Если его расчеты оправдаются, огонь обогнет ферму с севера и оставит ее целой и невредимой. Марсель беззвучно молился, чтобы так и случилось, но он слишком хорошо знал, как капризен и своенравен лесной пожар, как он способен в минуту изменить направление на девяносто градусов, пощадить полмили леса, разгореться вновь в другом месте и поскакать туда, где его никто не ждал. Марсель знал, что предсказать движение огня невозможно, и потому решил спастись бегством по дороге, ведущей через холмы к морю.

— Пора трогаться,— сказал он жене; Антуанетта сидела в фургоне на скамье и неотрывно смотрела на дом, будто боялась отвести от него взгляд.

— Подождем еще немного,— медленно проговорила она.— Может быть, огонь не пойдет в эту сторону.

— А может, пойдет, я не хочу рисковать.

— Мы так долго строили наш дом, Марсель. Как вспомню, сколько мы вложили в него труда... а новая плита... мы купили ее на деньги, что ты заработал на сплаве...

— Построим другой дом и купим новую плиту,— ответил он.

— Двенадцать лет труда...— начала Антуанетта не в силах договорить, не в силах произнести: «Двенадцать лет труда пойдут прахом в одну ночь».

Он пожал плечами, притворяясь, что ему это безразлично.

— Так хоть детей спасем. Мы еще молодые, начнем сначала.

Но она будто не слышала его слов. В ее голосе все еще звучала надежда.

— Даже если огонь пойдет в эту сторону,— сказала она,— пастбище, наверное, остановит его.



Марсель обвел взглядом леса, тянувшиеся вокруг до самого горизонта, его ферма была точно скорлупка в море.

— Просто тебе этого хочется, Туанетт,— сказал он.— Ты знаешь не хуже меня, что пожар перескочит через пастбище, как собака через ручей. Что толку надеяться на чудо... если огонь повернет в нашу сторону, ферма погибнет, вот и все.

Младенец в одеяле захныкал, Антуанетта, сидя на узкой скамье, укачивала девочку и старалась ее успокоить. Марсель пошел к лошади, он хотел отвязать от бельевого столба веревку, удерживающую на месте испуганного мёрина, и в эту минуту услышал на дороге тарахтенье грузовика. Марсель оставил лошадь на привязи и побежал к переднему крыльцу дома.

Свет фар сначала мелькал между деревьями, потом грузовик выехал из-за поворота, и в пятидесяти футах от дома засветились две яркие полосы. Грузовик ехал быстро, но, подъезжая к дому, сбавил скорость и остановился. Марсель бросился к машине.

— Вы Будро? — спросил по-английски какой-то старик.

— Да.

— Моя фамилия Маккендрик. Я пожарный объездчик из Сент-Жиронды. Мы собираем всех, кого можно, надо задержать пожар на гребне. Залезайте в кузов, там уже есть народ.

— А как же моя жена и дети? Они сидят в фургоне позади дома. Я хотел увезти их в поселок.

— Им нечего бояться. Со вчерашнего утра огонь неуклонно движется на запад. Мы расчистим противопожарную полосу вдоль рукавов ручья и постараемся погнать его в обратном направлении, чтобы он пожрал сам себя в молодой поросли к востоку от третьей гряды. У нас каждый человек на счету, садитесь в кузов.

— Подождите минуту, я только жене скажу! — крикнул Марсель и убежал за дом.

Он передал жене слова объездчика и сам успокоился, доверившись более опытному человеку. Марсель велел жене

держат лошадь наготове в упряжке и следить за огнем. Если пламя покажется на выступе холма, нужно немедленно ехать в поселок.

— Не уходи, останься лучше с нами,— не отпускала мужа Антуанетта, хотя в голосе ее слышалась покорность.

— Объездчик уверяет, что здесь вы в безопасности. Мы доедем только до того места, где ручей разливается на рукава. К завтраку я вернусь,— торопливо сказал Марсель, и в неверном свете отблесков пожара, освещавших северо-западную часть неба, Антуанетта увидела, как он снова побежал к машине.

В кузове было уже много мужчин, все молчали; машина тронулась и, набирая скорость, поехала по узкой дороге.

— Здравствуй, Марсель! — послышался рядом чей-то голос.

Марсель обернулся и увидел Омера Мишо, своего ближайшего соседа, жившего в пяти милях от него вниз по дороге.

— Здравствуй, Омер! Тебя, значит, тоже заграбастали? Мужчина кивнул.

Мишо рассказал Марселю, что пожар начался накануне утром почти в десяти милях от того места, где бушевал сейчас. Он возник по вине строительных рабочих, выжигавших кустарник на болоте по соседству с новым мостом, построенным для автомагистрали. Рабочие не заметили, как огонь пополз по траве к подлеску на обочине дороги. Позднее, когда они собрались в лагере на ленч, лениво стлавшееся по земле пламя подобралось к куче сухой кедровой коры, и в то же мгновение запылал огромный костер. А через два-три часа огонь уже со страшной скоростью пожирал пихтовый лес и заросли болиголова: языки пламени взлетали на вершины тридцатифутовых деревьев, как молнии, только летели они не сверху вниз, а снизу вверх. С этой минуты размеры и скорость пожара постоянно возрастали, пока он не превратился в огненный смерч, уничтожавший все на своем пути.

Грузовик доехал до конца дороги, более двух десятков

мужчин соскочили на землю, и объездчик раздал кирки, лопаты и топоры.

— Нам на помощь едут из поселка два бульдозера,— сказал он,— но пока будем обходиться тем, что есть.

Объездчик рассказал, как он рассчитывает справиться с пожаром, и острым концом кирки нарисовал на земле что-то вроде карты. В отраженном свете тускло светившегося неба мужчины с серьезными лицами молча теснились вокруг него. Марсель узнал Пеллетье, начальника почтового отделения, и трех-четырёх служащих лесопильного завода. Двое молодых людей в легких брюках и хлопчатобумажных куртках скорее всего приехали к кому-нибудь в гости на лето. Остальные были окрестными фермерами, не считая одного-двух наемных лесорубов.

План объездчика внушал доверие. Пожар устремился к месту слияния двух рукавов небольшой речки. Расширив на несколько футов внутреннюю береговую полосу одного из рукавов, можно попытаться повернуть пламя в сторону, тогда пожар перебросится через другой рукав и покатится вниз по извилистой ложине, переходившей в долину, уже однажды пострадавшую от огня, где постепенно заглухнет от недостатка топлива. В этой долине огонь бушевал несколько лет назад, он оставил обгорелые кленовые пни, и, как это обычно бывает на пожарище, там только-только начали появляться хилые, низкорослые березки, тополя и дикая вишня.

— Теперь вы знаете, что делать,— сказал Маккендрик.— Срубайте все деревья и кусты и оттаскивайте футов на десять от южного рукава, постарайтесь расчистить полосу подлиннее, работайте, пока пожар не подступит слишком близко. Подальше в долине стоят наготове пятьдесят человек с насосами, если мы сумеем повернуть огонь к ним, они справятся. Молодой Билл Хаулетт сидит с биноклем в башне на Белой горе и следит за пожаром, в случае чего он позвонит и вызовет еще десяток людей на помощь. Когда здесь станет невозможно, поднимайтесь на холмы. Мы будем ждать вас с грузовиком.

Мужчины двинулись друг за другом по тропе и довольно быстро подошли к южному рукаву. Не медля ни минуты, они принялись вырубать деревья и кусты и оттаскивать их от берега. Тусклое красное зарево, помогавшее им работать, скоро померкло от бледных солнечных лучей, пробившихся сквозь зловещий дым, заставший небо до самого горизонта.

Марсель не жалел сил, он знал, что потеряет все, если им не удастся повернуть пожар на восток. Истек час изнурительной работы, он оглянулся и увидел, что они продвинулись ярдов на двадцать пять от места слияния рукавов. Марсель решил, что этого мало, и вновь набросился на деревья с бешенством отчаяния.

Гул пламени, треск падавших деревьев почти оглушили горстку мужчин, клубы едкого дыма то и дело роняли пригоршни горячей золы, и, падая на землю, эти маленькие снаряды взрывались с громким шипением. Мужчины затапывали искры башмаками или яростно хлестали их сброшенными рубашками.

Огонь приближался, жара становилась нестерпимой, кожа на закопченных, потных лицах трескалась и кровоточила. Марсель перестал расширять и удлинять противопожарную полосу вдоль южного рукава и вместе с другими безуспешно пытался уничтожить первых гонцов пожара — небольшие очажки огня вокруг горячей золы. Это была безнадежная битва. Едва они гасили один костер, как у них за спиной возникали два или больше новых.

Поток обжигающего воздуха заставил их отступить за ручей, где было прохладнее, но и здесь многие деревья уже затлели. Большинство мужчин поспешно уходило через лес на восток, чтобы на дальней гряде холмов встретиться с Маккендриком. Мишо окликнул Марселя, но Марсель кивнул в сторону долины, где стояла его ферма. Мишо пожал плечами и заторопился вслед за остальными.

Марсель следил за слепящей огненной полосой пожара, стремительно наступавшего на лес. Плотный дым не давал ему вздохнуть, но еще больше мучил его недостаток кислоро-

да, жадно пожираемого из воздуха огромным полыхавшим костром. Марсель опустился на землю и сквозь заросли кустарника медленно пополз назад, не обращая внимания на искры и горячую золу, потоком низвергавшиеся на него с вершин деревьев, оглушительно трещавших в объятиях настигшего их пламени. И вдруг он увидел лисицу с двумя лисятами, перебежавших ему дорогу. Марсель посмотрел им вслед и словно прозрел. Огонь бушевал сейчас у него за спиной, а рыжие зверьки бежали с запада на восток. Лисица достаточно умна, она никогда не поведет детенышей в огонь, и ее бегство могло означать только одно: попытка повернуть пожар на восток потерпела неудачу, огонь легко перепрыгнул через их жалкую противопожарную полосу и устремился по долине к его дому.

Впервые за все это время Марсель понял всю безнадежность своего положения: он почувствовал, что попал в капкан, что остался один на один с пожаром и помощи ждать неоткуда. Он пополз вверх по склону холма, рассчитывая, что небольшое возвышение станет преградой между ним и огнем и облегчит ему возвращение домой.

Позади него оглушительно затрещали кусты; обернувшись, он увидел, что кто-то из их пожарной команды стремглав бежит вдоль линии наступающего огня. Это был один из приезжих, почерневшие лоскутья его серых брюк развевались вокруг кровоточащих ног, обожженное, испачканное сажей лицо перекосилось, рот жадно хватал воздух.

— Эй! — крикнул Марсель и упал на колени. — Вернись! Вернись!

Но тот ничего не слышал. Он сделал непоправимую ошибку и вместо того, чтобы прижаться к земле, побежал вверх по склону наперегонки с огнем. Марсель с возрастающим ужасом смотрел, как безумная попытка обогнать пламя загнала несчастного под шатер горящих деревьев, медленно осевший и опутавший его огненной пеленой. Пронзительный вопль прорвался сквозь шум и треск и утонул в реве пламени.

Всхлипывая от усталости и страха, Марсель медленно

перевалил через вершину холма, прижимая к лицу платок, чтобы уберечься от нестерпимого жара и дыма. На противоположном склоне он упал и, приткнувшись к дереву, стал изо всех сил хлопать себя по дымящимся брюкам израненными руками, похожими на изуродованные лапы обесиленной птицы.

Заметив, что пламя начало лизать вершину невысокого холма, Марсель с трудом поднялся и заковылял вниз, натываясь на деревья, выдирая ноги из длинной травы и низкорослых кустов, ничего не видя из-за дыма и темной завесы подпаленных и слипшихся ресниц.

У подножья холма он нащупал каменистое дно пересохшей речки, свернул направо и пошел по руслу. Шатаясь, он двигался вниз по долине, дым понемногу редел, со склонов над ним доносился уже не оглушительный грохот, а ровный гул. Он знал, что, сбегая вниз по склону, огонь резко сбавит скорость, и когда у него под ногами послышался плеск, остановился и промыл нестерпимо болевшие глаза холодной прозрачной ключевой водой. Потом лег плашмя на влажную землю и досыта напился, радуясь, что булькающая струя бежит по обнаженной груди и спине. Освежившись, Марсель с новыми силами заспешил вниз по ручью.

На бегу он разглядел высоко на склоне маленький язычок пламени, вспыхнувшего, наверное, от случайно залетевшей искры или горячей золы. Он со страхом остановил на нем взгляд, страстно желая, чтобы Антуанетта и дети были уже в безопасности на пути к поселку. А потом заметил что-то странное: пламя полезло вверх по направлению к главному потоку огня. С минуту Марсель неотрывно смотрел, как оно продвигается к вершине, и вдруг понял, что склон холма служит чем-то вроде естественного дымохода, где свежий ветер из долины поддерживает тягу.

Отчаянная мысль мелькнула у него в голове. Если он устроит пожар у подножья холма, ему, быть может, удастся изменить главное направление огненного потока: наткнувшись на склон, где уже сгорели все деревья и кустарники, надвигающееся пламя остановится на вершине и не пойдет



вниз из-за недостатка топлива. И тогда оно почти наверняка повернет на восток, к тому месту, где пожарный объездчик с командой расчищают и расширяют длинную защитную полосу.

Но игра стоила свеч, только если Антуанетта и дети уже оставили дом. Вполне возможно, что его постигнет неудача, и тогда, потеряв время, ни он, ни они не успеют спастись бегством от пожара, покотившегося по долине. Как знать, не превратится ли костер, разложенный, чтобы остановить поток пламени, в передовой отряд огненных всадников, который с легкостью проскачет несколько сот ярдов, отделявших вершину холма от долины.

Минуту Марсель стоял в тяжком раздумье: ему было страшно рискнуть собой и своей семьей во имя спасения дома и земли. И все-таки, поставив на карту собственную жизнь, он пробежал несколько ярдов вниз по берегу едва сочившегося ручья и схватил охапку еловой коры из плоской коричневой кучи, сложенной им самим, когда он весной чистил древесину.

Скрутив вместе два-три куска коры, он бегом поднялся на несколько футов вверх по склону и сунул кору в огонь, кора затлела, потом загорелась. Марсель медленно зашагал вниз, обходя деревья и поднося свой корявый факел к сухим потрескивающим кустам.

Сначала огонь лениво лизал ветки, но, спускаясь по склону, Марсель оглянулся и увидел, как тонкие языки пламени поползли вверх и загудели вокруг деревьев. Не помня себя от радости, он выхватывал из охапки под мышкой куски коры, сворачивал и поджигал в кустах, только что преданных огню его же рукой.

Марсель обходил подошву холма и слышал треск деревьев, погибавших в огне, торопливо бегущем вверх. Этот треск звучал по-новому, он сулил помощь и поддержку — защиту от надвигающегося сверху грохота пожара.

В несколько минут холм запылал, как гигантский стог сена, пламя скакало по деревьям, излучая нестерпимый жар, и в мгновение ока превращало тридцатилетние пихты

и ели в почерневшие палки и дымящиеся кучи золы. Марсель стоял на другой стороне узкого ручья и с изумлением смотрел на дело своих рук.

Иногда ветер ослабевал, тогда огонь едва мерцал под широким колпаком плотного дыма, а Марсель с остановившимся сердцем ждал, что он повернет в обратную сторону и устремится на него.

Но пожар полз вверх, и Марсель бегал вдоль ручья, уничтожая небольшие огненные островки, оставленные потоком пламени, он прыгал и затапывал их, будто исполнял радостный танец в честь земли. Мучительно долго он не мог понять, выиграл или проиграл сражение. Две стены огня шли друг на друга, и каждая стремилась сокрушить другую. Позади одной из них, воздвигнутой его руками, лежала узкая, шириной не более пятидесяти ярдов, полоса опустошенной земли, вряд ли достаточная, чтобы остановить движение главного огненного войска. Прикусив язык и сжав израненные руки в кулаки, Марсель ждал схватки. Две стены огня столкнулись с оглушительным грохотом, пламя вырвалось из облаков дыма и взметнулось высоко в небо. А потом красные языки постепенно опали, приникли к черной, обожженной земле, и пожар, возвращаясь вспять, пополз по склону вверх, на восток.

Но прошло еще полчаса, прежде чем Марсель затоптал мелькавшие тут и там огоньки, только тогда он расстался с полем битвы, где одержал блистательную победу, и опрометью побежал вниз по долине к своему дому.

Антуанетта встретила его у ворот, на ее усталом, испачканном сажей лице сияла улыбка. Онемев от радости, она взяла мужа за руку и повела в дом. Он сел на стул и, пока жена смазывала вазелином его лицо и руки, неотрывно смотрел через окно на пожар, отступавший по гребням холмов на восток. Антуанетта вскипятила чайник и, хлопоча у конфорок, только что не гладила блестящие черные бока плиты, ее разгоряченное лицо сияло от радости. Напившись чаю, Марсель вышел во двор, отвязал лошадь и корову, освободил от пут поросенка и загнал животных

в конюшню. Дети снова играли вокруг дома, а Антуанетта доставала из фургона узлы с одеждой.

— Почему ты осталась, ты же видела огонь на склоне? — спросил ее Марсель, стараясь говорить сурово и властно.

Антуанетта не ответила, она продолжала торопливо носить узлы и только время от времени останавливалась и смотрела на горящие холмы. Заглянув ей в лицо, Марсель увидел две мокрые полоски на щеках и, не сказав больше ни слова, понес в дом радиоприемник и швейную машину.

Потом Марсель переменял рубашку и собрался уходить, он хотел присоединиться к тем, кто расчищал противопожарную полосу за грядой холмов в соседней долине. Антуанетта попыталась удержать мужа, но в его глазах сверкала незнакомая ей решимость.

Марсель попрощался, сказал старшим детям, чтобы они не поднимались на склон, где на одном участке все еще тлел огонь, и вышел на дорогу. Пожар уже не грозил бедой ни ему, ни его близким, он крался по холмам, прятался в кустах, но больше не внушал страха, потому что гибель его была предрешена. Проходя мимо картофельного поля, Марсель по привычке выдернул куст и посмотрел на северо-запад, высматривая тучи. За серым дымом он разглядел несколько хвостов перистых облаков — вестников приближающейся грозы. Марсель вспомнил, как мучили его накануне дурные предчувствия, беззвучно рассмеялся и торопливо зашагал по дороге, боясь, как бы дождь не отнял у него победу.

# Маргарет Лоренс

## Не спешите, кони ночи...

Пока Крис не приехал в Манаваку поступать в среднюю школу, я даже не подозревала, что где-то на севере у меня есть двоюродные братья и сестры. Мама сказала, что родители Криса — наши дальние родственники, у них много детей и живут они на севере в Шэллоу-Крике. Мне было шесть лет, и я решила, что Шэллоу-Крик находится на краю света в сказочной стране вечной зимы, где на деревьях не бывает листьев, а пар от дыхания, вырывающийся из ноздрей тюленей и белых медведей, тут же превращается в лед.

— Разве люди, как мы, могут там жить? — спросила я маму в полной уверенности, что на севере живут только эскимосы. — Разве там бывают фермы?

— Что ты такое говоришь? — в изумлении спросила мама. — Я же тебе сказала. Они там живут. На ферме. Когда-то давным-давно дядя Уилф, отец Криса, получил в тех краях участок земли; несколько лет назад он умер.

— А как же у них что-нибудь растет? Ты сама говорила, это на севере.

— Господи боже, Ванесса! — воскликнула мама и рассмеялась. — Они живут не так уж далеко отсюда. В какой-нибудь сотне миль севернее горы Гэллопинг. Надеюсь, ты встретишь Криса приветливо, правда? И не задавай ему тысячу вопросов, едва он переступит порог.

Как плохо мама меня знает, подумала я. Крису исполнилось пятнадцать. Конечно, я для него пустое место. Я ненавидела себя за то, что мне всего шесть. Я боялась, что вообще не смогу сказать Крису ни слова.

— А что, если он мне не понравится?

— Не понравится? — сурово переспросила мама. — Тем не менее ты будешь вести себя как воспитанная девочка, без всяких фокусов, понятно? Нам и без того придется нелегко.

— Зачем ему понадобилось сюда приезжать? — спросила я сердито. — Почему он не может ходить в школу у себя дома?

— Потому что там нет средней школы, — сказала мама. — Надеюсь, он привыкнет и не будет слишком тосковать о своих. Три года — немалый срок. Твой дедушка разрешил Крису жить у себя в кирпичном доме, это очень мило с его стороны.

Последние несколько слов мама произнесла подчеркнуто враждебно, будто подозревала, что я думаю иначе. Но эта сторона дела меня несколько не занимала. По случаю приезда Криса нас всех пригласили на обед в кирпичный дом. Август уже подходил к концу, а жара все не спадала. С улицы дом бабушки казался непомерно большим и прохладным, высокие ели с разлапистыми, низко растущими ветвями, будто огромный темно-зеленый зонт, закрывали его от солнца. Но в самом доме было нестерпимо жарко. На кухне полыхала плита, и во всех комнатах пахло жареным мясом.

На бабушке Коннор топорщился длинный розовато-лиловый фартук. По-моему, он шел ей гораздо больше, чем платье темно-бутылочного цвета, но она предпочитала одежду мрачных тонов, чтобы лишний раз продемонстрировать торжество высоких помыслов над мелким тщеславием, хотя как раз она могла об этом не беспокоиться. Фартук закрывал бесформенную грудь бабушки и даже часть ее единственного украшения — броши с изображением чудовищно бородатого мужчины, то ли Моисея, то ли бога, как я думала.

— Не пора ли им уже приехать, Бет? — спросила бабушка.

— Поезд приходит не раньше шести, — ответила мама. —

Сейчас еще только половина. Отец уехал на станцию?

— Час назад,— сказала бабушка.

— Узнаю отца,— не удержалась мама.

— Перестань, Бет, перестань! — Бабушке явно не хотелось вступать в пререкания.

Наконец парадная дверь с сеткой от насекомых распахнулась настежь, и дедушка Коннор размашистым шагом вошел в дом, а вслед за ним появился долговязый, тощий мальчик. На Крисе была белая рубашка с галстуком и серые брюки. Я с неохотой отметила, что он красивый. У него было хмурое загорелое лицо с резко выступающими скулами. Серые глаза слегка косили, а светлые волосы напоминали пырей под конец лета, когда он от солнца становится бледно-желтым. Я заранее решила, что Крис мне не понравится, ни капельки не понравится, но почему-то мне захотелось его защитить, когда я услышала, как мама, прежде чем выйти в прихожую, шепнула бабушке:

— Боже праведный, посмотри на его рубашку и брюки... Наверное, отцовские... бедный мальчик.

Я выбежала в прихожую, опередив маму, и застыла на месте.

— Здравствуй, Ванесса,— сказал Крис.

— Откуда ты знаешь мое имя? — выпалила я.

— Видишь ли, я знал, что у твоих родителей только один ребенок, и решил, что это ты,— ответил он и улыбнулся.

В его словах не прозвучало даже тени недовольства моей несдержанностью.

Мама поздоровалась с Крисом ласково, но растерянно. Она не знала, поцеловать его или протянуть руку, и в конце концов не сделала ни того, ни другого. Зато бабушка Коннор не раздумывала. Она поцеловала Криса в обе щеки, а потом отстранила, не выпуская из рук, чтобы получше разглядеть.

— Благослови тебя бог, дитя! — сказала она.

В устах любого другого человека это пожелание показалось бы смешным, тем более что Крис был на голову выше



бабушки. Но моя бабушка — единственная из всех, кого я знала, — умела искренне произносить такие слова.

— Пойдем, Крис, я покажу тебе твою комнату, — сказала мама.

Дедушка Коннор, все это время безмолвно стоявший в дверях гостиной с застывшим лицом кладбищенской статуи, прошествовал на кухню вслед за бабушкой.

— Поезд опоздал на сорок минут, — многозначительно произнес он.

— Какой позор! — воскликнула бабушка. — Я правда думала, Тимоти, что он должен прийти не раньше шести.

— Шести! — возмутился дедушка. — В шесть прибывает дальний, местный приходит в пять двадцать.

И я, и бабушка знали, что дедушка все перепутал. Но не стали ему возражать.

— С чего ты вздумала подавать жареное мясо в такую погоду? — не унимался дедушка. — Жарища такая, что на тротуаре яйца можно печь. Картофельного салата за глаза хватило бы.

В глубине души я была с ним согласна, но я бы скорее умерла, чем позволила ему об этом догадаться. Всегда и во всем я была на стороне бабушки, не потому, что она никогда не ошибалась, а потому, что я любила ее.

— Я не собираюсь подавать жареное мясо, — осторожно возразила бабушка. — Только котлеты. Плита горит не больше часа. Я подумала, что мальчик проголодался с дороги.

Мама и Крис уже спустились в гостиную. Я слышала, как они разговаривали, с трудом подбирая слова и то и дело умолкая.

— Обошелся бы картофельным салатом, — бушевал дедушка, — за милую душу. Да еще почитал бы себя счастливым, если хочешь знать. В доме Уилфа гроша ломаного не сыщешь. Это я плачу за содержание мальчишки, я, а не он!

Мысль, что Крис в гостиной, а мама ничего не сможет ему объяснить, мгновенно вывела меня из оцепенения.

Я осторожно подкралась к кухонной двери и потянулась к ручке. Но бабушка остановила меня.

— Не надо, Ванесса,— сказала она с неожиданной твердостью.— Не закрывай дверь.

Я не поверила своим ушам. Неужели она хотела, чтобы Крис слышал? Какой бы тирадой ни разразился дедушка, бабушка никогда не теряла самообладания, потому что ее ограждали несокрушимые стены веры в бога. Но для всех остальных они не существовали, и обычно бабушка старалась нас защитить. Услышав ее слова, я раскрыла рот от изумления. Бабушка, наверное, хорошо понимала, как я сейчас думаю, что рано или поздно Крису придется познакомиться с нравами кирпичного дома, а в таком случае чем раньше, тем лучше.

Я хотела выйти в гостиную. Я хотела знать, как Крис отнесся к дедушке. Может быть, рассердился, как я надеялась, или даже осмелился возразить? А может быть, только растерялся и покорно нагнул голову?

— Уилф смолоду ни на что не годился,— громовым голосом вещал дедушка.— Последний дурак не взял бы участок в таком месте. Спроси он любого, каждый сказал бы, что от этой земли ничего не дождешься, кроме сена.

Неужели дедушка снова будет рассказывать, как разбогател на торговле скобяными товарами? Ни одна живая душа ему не помогала, повторял он мне сотни раз. Я знаю, он искренне верил в то, что говорил. И возможно, даже говорил правду.

— Если мальчишка пойдет по стопам отца, ничего хорошего его не ожидает,— не унимался дедушка.

Меня душила знакомая ярость бессилия. А Крис... ни тени смущения не заметила я на его лице. Крис сидел на большом черном диване с полукруглой спинкой, похожем на огромную морскую ракушку, застрявшую в фонаре гостиной. Он заговорил со мной как ни в чем не бывало, будто не слышал ни слова из речи дедушки.

К этой уловке он прибегал потом постоянно. Когда на него обрушивался поток дедушкиного красноречия, что

случалось довольно часто, он не сжимался в комок, как я, и не пытался, собрав все силы, удержать рвущиеся из горла слова, умирая от страха, что при первом возражении знакомый мир рухнет, будто карточный домик. Крис не спорил, не защищался и не просил прощения. Он, казалось, просто отсутствовал, перенесясь на время в какой-то иной мир. К счастью, когда дедушка Коннор кого-нибудь распекал, он вовсе не ожидал, что ему ответят.

Тогда я не обратила внимания на эту странность Криса. Он завоевал мое сердце, потому что разговаривал и шутил со мной, как с равной. Потому что уважение к другому «я» было у него в крови, хотя я тогда еще не смогла бы выразить эту мысль словами.

В те редкие вечера, когда родителей не было дома, меня поручали заботам Криса. Это были счастливые вечера: часто, чтобы позабавить меня, а заодно и себя, Крис откладывал в сторону учебники и мастерил удивительные игрушки — крошечных трубочистов, отплясывающих какой-то невиданный танец, или кукольный театр с гирляндой елочных лампочек на сцене и красным бархатным занавесом, который можно было открывать и закрывать. Крис искусно делал всевозможные маленькие вещицы. Однажды он подарил мне на день рождения кожаное седло размером со спичечный коробок, он сшил его сам, совсем как настоящее: сделал стремяна, прикрепил рожок, а посередине вышил крест — тавро его ранчо, как он сказал и добавил, что его имя Кристиан, или Христианин, связано со знаком креста на тавро.

— Можно я когда-нибудь приеду в Шэллоу-Крик? — спросила я Криса в один из таких вечеров.

— Конечно. На летние каникулы, в этом году или в следующем. У меня есть сестра — почти твоя ровесница. Остальные уже взрослые.

Я не хотела слышать про сестер. Крис был единственным сыном, и сестры просто не существовали для меня, даже на фотографиях, я не хотела, чтобы они существовали, и все. Крис принадлежал только мне. Шэллоу-Крик, ко-

нечно, существовал, но ледяные горы, громоздившиеся в моем воображении, растаяли и уступили место манящей стране, полной чудес.

— Расскажи, Крис, как у вас там живут.

— Что с тобой, Ванесса, я ведь уже рассказывал, тысячу раз рассказывал.

— Ты не сказал, какой у вас дом.

— Как так? Наш дом, знаешь ли, сложен из деревьев, они росли совсем близко, на берегу озера.

— Из деревьев? Ого! Правда?

И я видела этот дом. Дом из живых деревьев с плотными зелеными листьями. Ветви деревьев изгибались, переплетались и тянулись вверх, дом украшали башенки и уютные гнездышки, если выглянуть из такого гнездышка, видно далеко-далеко, на сто миль вокруг и еще дальше.

— А наше озеро,— говорил Крис,— оно, знаешь ли, больше похоже на море. Тянется, тянется без конца и края, вот какое у нас озеро. И знаешь? Миллионы лет назад, когда на земле еще не было людей, в озере водилось множество водяных чудищ. Динозавры самых разных пород. А потом они все вымерли. Никто не знает почему. Представляешь: огромные твари со змеиными шеями, у некоторых на голове пучок щетины вроде петушиного гребешка, только жесткий, как свиная кожа. Несколько лет назад из Виннипега приезжали какие-то люди, они откопали кости динозавра и нашли отпечатки следов на скалах.

— Как это отпечатки на скалах?

— Когда динозавры волочили по земле свои туши, скалы были точно глина, а через триллионы лет глина окаменела, и следы сохранились, даже огромные когти еще видны. Удивительно, верно?

Онемев от изумления и ужаса, я могла только кивнуть. А как же купаются в этом озере — вот страх! Вдруг какая-нибудь из тех тварей жива до сих пор?

— Расскажи про лошадей,— попросила я.

— Про лошадей, говоришь. Пожалуйста, у нас две верховые лошади — Герцогиня и Светлячок. Я сам их вырастил,

ты бы только посмотрела на них. Гладкие кони, понимаешь, что это такое? Захотел — сделал бы из них настоящих скакунов, можешь не сомневаться.

Он скушает о лошадях больше, чем о родителях, больше, чем о сестрах, подумала я злорадно. И увидела будто наяву, как пара лошадей — одна гнедая и одна черная — несется по летнему лугу.

— Когда мне можно будет приехать к вам, Крис?

— Надо, знаешь ли, подумать. После окончания школы я не смогу так уж часто приезжать в Шэллоу-Крик.

— Почему?

— Потому что я хочу быть инженером, — сказал Крис, — гражданским инженером. Ты, Ванесса, видела когда-нибудь настоящий большой мост? Я, знаешь ли, тоже не видел, только на картинке. Мост над заливом Золотые Ворота в Сан-Франциско, например. На страшной высоте тонкие стальные нити соединены между собой, и вся эта громада висит над широким-широким заливом. Невозможно поверить, но мост висит. Вот что делают инженеры. Можешь себе представить такое, можешь?

Я не могла. На этот раз мое воображение оказалось бессильным.

— Куда ты поедешь? — спросила я.

Мне не хотелось даже думать, что Крис уедет.

— В Виннипег, в колледж, — не задумываясь, ответил он.

Депрессия не ослабевала, вопреки всему, что говорили кругом. Депрессия усиливалась, и засуха тоже. Правда, в той части прерий, где мы жили, земля оставалась землей, а не обращалась в пыль. На фермах вокруг Манаваки ни разу не погиб весь урожай целиком, и позднее, когда засуха прекратилась, люди с гордостью говорили об этой милости, будто она была дарована в награду за их добродетели или подтверждала их избранность — считались же избранными дети Израиля, которых Иегова покарал, но не истребил. И все-таки хотя самые страшные беды обошли Манаваку стороной, тех, что обрушились на наш город, было вполне достаточно. Во всяком случае, так мне потом рас-

сказывали. Сама я этого не замечала. Депрессия и засуха были для меня чем-то далеким и неопределенным, вроде рассерженных богов, чьи имена, несмотря на запрет, я тайком узнала и чьей кары я боялась только из суеверия: я понимала, что они могут нас наказать, но не понимала, как и за что. По-настоящему меня занимал наш дом и больше ничего.

— Школу он кончил вполне хорошо, несмотря ни на что,— сказала мама.

Она вздохнула, и я догадалась, что мама говорила о Крисе.

— Знаю,— ответил отец,— мы уже столько раз все это обсуждали, Бет. Вполне хорошо — это еще не вполне достаточно. Если даже он добьется стипендии, что еще неизвестно, этих денег все равно хватит только на учебники и на плату за обучение. А комната, а стол? Кто будет платить за его комнату и за стол? Твой отец?

— Наверное, я зря затеяла этот разговор,— сказала мама чужим голосом.

— Прости,— заволновался отец.— Но ты ведь сама знаешь: никто, кроме твоего отца...

— Ивен, у меня просто язык не поворачивается спросить отца. Я не в силах открыть рот.

— Какой смысл спрашивать,— сказал папа,— если ответ известен заранее. Он считает, что внес свою долю, и ты сама знаешь, Бет, у него есть для этого все основания. Три года все-таки. Пусть он не очень баловал Крису, но слово сдержал.

Мы сидели в гостиной, уже наступил вечер. Отец горбился в своем сером кресле. Мать, выпрямив узкую спину, занимала синее, куда не садился никто, кроме нее. Я прилегла на скамеечке для ног, покрытой светло-коричневой кружевной дорожкой с четким узором из розочек. Этот порядок никогда не нарушался, что доставляло мне неосознанную радость, как чтение сказки про трех медведей, где тоже заранее известно, кто где сидит. Я делала вид, что рисую на исчерканном листке бумаги, лежащем

у меня на коленях, и мой сонный карандаш изредка добавлял перышко к крылу диковинного лебедя. Я понимала, что открыть рот — значит тут же отправиться спать. Но слова взрослых подняли вихрь вопросов у меня в голове.

— Крис не уедет? Не уедет?

Мама, раздосадованная своей забывчивостью, набросилась на меня, как коршун:

— Боже правый, Ванесса, ты еще не легла? О чем я только думаю!

— Куда Крис уедет?

— Мы еще не знаем,— увильнула мама от ответа, тополиво поднимаясь по лестнице вслед за мной.— Мы подумаем.

Он не уедет, твердила я. Что-нибудь непременно случится и помешает ему уехать. Он останется, и в моей жизни останутся его широкие шаги вприпрыжку, слегка косящие серые глаза и наши разговоры. Он останется здесь, у нас. И скоро, совсем скоро,— потому что мне отчаянно этого хотелось и потому что каждый день безжалостно делал меня старше,— совсем, совсем скоро я смогу разговаривать с ним даже о космическом пространстве и о беспредельном черном небе вокруг Земли, я смогу отвечать ему так обстоятельно, с таким блеском, что он не поверит собственным ушам. Тогда я перестану презирать себя за то, что не могу найти те единственные слова, которые ему больше всего хочется услышать. И когда настанет это радостное, это невообразимо прекрасное время, я больше не буду терзаться от сознания собственного ничтожества. Я больше не буду маленькой.

Мне было девять лет, когда Крис уехал из Манаваки. Накануне отъезда я постучала в дверь его комнаты в кирпичном доме.

— Входи,— сказал Крис.— Я собираюсь. Ты умеешь складывать носки, Ванесса?

— Еще бы. Конечно.

— Ну вот, сложи тогда вон ту стопку.

Я пришла попрощаться, но мне не хотелось сразу уходить. И я взялась за носки. Я не думала заводить разговор о колледже, но мне было неприятно все время напоминать себе: не говори про колледж. Чем старательнее я следила за собой, тем больше боялась случайно нарушить запрет. Слова мамы не выходили у меня из головы: «Крис отнесся к возвращению домой удивительно спокойно, он даже не обмолвился про колледж, и мы тем более не должны этого делать».

— Завтра вечером ты будешь в Шэллоу-Крике,— отважилась я наконец открыть рот.

— Угу.

Крис не обернулся. Он продолжал укладывать в чемодан одежду и книги.

— Я знаю, тебе не терпится посмотреть на лошадей, правда?

Мне очень хотелось услышать, что ему больше не нужны лошади, что он хочет остаться у нас.

— Конечно не терпится,— сказал Крис.— Ванесса, ты не передашь мне вон те носки? Я, наверное, смогу просто засунуть их в чемодан с этой стороны. Спасибо. Готово, хочешь полюбоваться? Все уместилось. Умею я укладывать вещи или не умею?

Я села на чемодан, чтобы помочь его закрыть, а Крис обмотал чемодан веревкой, потому что замок не заперся.

— Скажи, Ванесса, как по-твоему, хорошо быть путешественником? — спросил Крис.

Я вспомнила про Ричарда Хэллибертона\*: он на слоне перешел через Альпы и однажды в лунную ночь тайком плывал в пруду среди лилий в саду Тадж-Махала.

— Замечательно! — ответила я, потому что именно это слово употреблял Крис, когда говорил о чем-то особенно заманчивом.— Когда-нибудь я тоже буду путешествовать.

На мгновение я испугалась, как бы Крис не заявил, что девочки не путешествуют.

\* Ричард Хэллибертон (1900—1939) — американский путешественник, альпинист и писатель. (Здесь и далее — примечания переводчиков.)



— Почему бы и нет? — сказал он. — Конечно будешь, если по-настоящему захочешь. Я, видишь ли, считаю, что каждый может добиться всего, чего захочет, — всего, если только хватит решимости. А кроме того, нужно уметь сосредоточить все свои мысли на чем-то одном. Нужно напрячь все свои умственные способности и ни на минуту не забывать о цели. Если не жалеть сил и всегда помнить о своей цели, непременно ее достигнешь, поняла? Посмотри на людей вокруг. Почти никто не может сосредоточиться на чем-то одном, не может, и все.

— А я тоже не могу, как ты считаешь? — с тревогой спросила я, решив, что об этом он и толкует.

— Что? — удивился Крис. — Ах, ты... ты наверняка можешь. Ты, по-моему, наверняка можешь. Тут и говорить не о чем.

Крис не написал ни слова после отъезда из Манаваки. Примерно через месяц мы получили письмо от его матери. Она не знала, где он. В Шэллоу-Крик он не вернулся. Крис сошел с поезда на первой же станции севернее Манаваки, продал билет, проголосовал и приехал на грузовике в Виннипег. Из Виннипега он написал матери, но не дал своего адреса. С тех пор она ничего о нем не знала. Мама читала письмо тети Тэсс вслух папе. Она была так расстроена, что забыла меня отослать.

— Не могу понять, Ивен, что на него нашло. Он всегда казался таким рассудительным. Вдруг с ним случилась беда? Вдруг у него нет ни копейки? Что нам делать, как ты думаешь?

— Что мы можем сделать? Ему скоро восемнадцать. Он сам отвечает за свои поступки. Успокойся, Бет, давай лучше решим, что мы скажем твоему отцу.

— Боже милосердный! — воскликнула мама. — Страшно даже подумать.

Мне удалось незаметно выйти из комнаты. Я взобралась на холм на окраине города и спустилась в долину, заросшую чахлыми дубами и тополями почти до самых берегов реки Уачеквы. Отыскала дуб, под которым прошлой осенью вместе

с другими ребятами курила папиросы, свернутые из газеты и набитые сухими листьями. Влезла на самую низкую ветку, и мне не захотелось спускаться.

Я не думала о Крисе. Я не думала ни о ком и ни о чем. Но в конце концов я заплакала, мне стало легче, и я вернулась домой.

А потом Крис очень быстро исчез из моей жизни, наверное, потому, что произошло много других событий. Тетя Эдна вернулась из Виннипега и осталась в Манаваке: ее уволили из страховой компании, где она работала секретарем, и она не смогла найти другую работу. Возвращение тети Эдны привело меня в бурный восторг, и я не могла понять, почему мама огорчается, хотя любит тетю Эдну не меньше меня. Потом родился мой брат Родерик, и в том же году умерла бабушка Коннор. Необъяснимость рождения и смерти так потрясла меня, что я забыла обо всем на свете.

Через два года, когда мне исполнилось одиннадцать, Крис вдруг появился у нас дома. Я вернулась из школы и увидела, что он сидит в гостиной. Я не могла понять, почему до этой минуты почти не вспоминала о нем. Глядя на живого, непридуманного Криса, я почувствовала себя предательницей — я так редко думала о нем в последнее время.

На Крисе был темно-синий саржевый костюм. Мне уже было одиннадцать лет, и я заметила, что костюм дешевый и сильно поношен. В остальном Крис не изменился: та же улыбка, те же острые скулы — кожа да кости, те же беспокойные глаза.

— Как ты здесь очутился? — закричала я. — Где ты пропал, Крис?

— Я путешествовал, — сказал он. — Помнишь?

Крис и впрямь стал путешественником. Одно из значений этого слова в наших краях — торговец, разъезжающий по стране с разными товарами. Крис продавал пылесосы. В тот вечер он принес несколько пылесосов и показал нам. Он расхваливал свой товар по всем правилам искусства, чтобы мы знали, как это делается.

— А теперь взгляните, Бет, — сказал Крис, включил пы-

лесос и повысил голос, стараясь перекрыть завывания мотора.— Видите, как засиял ваш старый коврик. Замечательно, правда?

— Просто чудесно,— засмеялась мама.— Только мы не можем позволить себе такую покупку.

— Неважно,— торопливо сказал Крис,— я не уговариваю вас покупать пылесос. Я просто хочу показать, как он работает. Знаете, я занимаюсь пылесосами всего месяц, но мне кажется, это стоящее дело. По-моему, эта штука говорит сама за себя, верно? На что годятся, Бет, все ваши проволочные пылевыбивалки! Можете колотить, пока руки не отнимутся, все равно ковер, вычищенный пылесосом, будет выглядеть в сто раз лучше.

— Видишь ли, Крис, я не хотел бы...— заговорил отец,— но пылесос, в конце концов, не такое уж новшество, а мы не единственная семья, которая не может себе позволить...

— Это очень большой пылесос, понимаете? — настаивал Крис.— Послушайте, Ивен, я не собираюсь всю жизнь торговать пылесосами. Но почему бы не повозиться с пылесосами хотя бы год и не скопить денег... верно? Многие зарабатывают на этом столько, что могут кончить университет.

Я очень хотела найти какие-то настоящие, какие-то чудодейственные слова, чтобы Крис понял: я верю в его страстную убежденность, верю, что он прав.

— Я знаю, Крис,— начала я,— знаю, что ты продашь тысячу пылесосов.

Два года назад это утверждение прозвучало бы для меня как нечто очевидное, нечто не вызывающее сомнения. Но в тот вечер, закрыв рот, я поняла, что сказала неправду.

Когда Крис приехал в Манаваку в следующий раз, он продавал журналы. Крис все рассчитал заранее. Он будет зарабатывать по сто долларов в месяц, если каждый шестой житель подпишется на «Кантри гайд». Мы так и не узнали, чем это кончилось. Крис провел в Манаваке меньше месяца. Потом он приехал зимой. Тетя Эдна позвонила нам по телефону:

— Несса? Послушай, детка, пусть мама придет, если у

нее есть еще хоть капелька сил. Крис здесь, и отец кипит от ярости.

Через пять минут мы с мамой уже бежали к ним, набирая снег в ботики, застегнутые на скорую руку. Но мы зря беспокоились о Крисе. К тому времени, когда мы добрались до кирпичного дома, дедушка Коннор спустился в нижний, полуподвальный этаж, уселся в кресло-качалку рядом с печью и лишь время от времени изрекал какие-то зловещие истины, будто подземный оракул.

Мама и тетя вздрагивали при каждом громогласном всплеске дедушкиного негодования, а Крис, по своему обыкновению, казалось, просто ничего не слышал. Он был поглощен рассказом о моторчике, который держал в руках. У моторчика была коленчатая ручка, как у старомодной швейной машины.

— Надеваете на эту ручку моток шерсти, видите? Потом поворачиваете переключатель, вот так, нажимаете на рычаг и теперь только успевайте следить. Чистая работа, правда?

Это была вязальная машина. Крис показал нам готовые вещи. Он связал две пары мужских носков из грубой шерсти, одну — пестро-серую, другую — темно-бордовую. Я была поражена.

— Ой, как интересно, Крис, можно я попробую?

— Конечно. Смотри, нужно только покрепче ухватиться вот здесь.

— Откуда у тебя эта машина? — спросила мама.

— Взял напрокат. По моим расчетам, Бет, я смогу продавать носки вдвое дешевле, чем в магазине, и лучшего качества.

— Кому ты собираешься их продавать? — спросила тетя Эдна.

— Всем, кто работает в поле и в лесу, толстые шерстяные носки нужны круглый год, а не только зимой. Эта машина — золотое дно.

— Скажи лучше, как мать и все остальные? — спросила мама.

— Хорошо, — сдержанно ответил Крис. — Рабочих рук

им хватает, Бет, если вы об этом. Сестры с мужьями остались в Шэллоу-Крике.

Крис широко улыбнулся, будто прогнал неприятную мысль, и полез в чемодан.

— Ну и ну! Я же вам еще не показал... вот эти тебе, Ванесса, а эти — Родди.

Мои носки были вишневого цвета, а совсем маленькие носочки для моего брата — светло-голубого.

Крис пообедал с нами, посидел немного и снова уехал.

После смерти папы привычный мир рухнул. Все вокруг стало непонятно, все пугало. На много месяцев я будто ослепла и оглохла, поэтому, когда однажды в разгар безработицы мама сказала, что Криса снова уволили и он вернулся в Шэллоу-Крик, я едва обратила внимание на ее слова. Но в то лето мама решила, что на каникулы мне нужно куда-нибудь уехать. Она надеялась, что поездка поможет мне забыть о смерти папы. Что поможет ей, она не сказала.

— Хочешь поехать на неделю в Шэллоу-Крик? — спросила мама. — Я могу написать матери Криса.

И тогда я вспомнила — воспоминания будто прорвали плотину и хлынули потоком, — я вспомнила, каким представляла себе Шэллоу-Крик по рассказам Криса: дом, сложенный из живых деревьев, озеро величиной с море, полное водяных чудищ, траву, сверкающую как зеленое пламя, гордых лошадей, радостно несущихся вскачь.

— Хочу, — сказала я. — Напиши.

В Шэллоу-Крике не было железной дороги, и Крис встретил меня в Челонерс Кроссинге. Он стал каким-то другим, не только из-за того что похудел, но и... почему еще? Я не сразу поняла, что он выглядел иначе потому, что его лицо и шея потемнели от загара, на нем были деревенские брюки из грубой простой ткани и синяя клетчатая рубашка с открытым воротом. Новый Крис мне понравился. Из нас двоих я, наверное, изменилась больше, чем он: мне исполнилось тринадцать. Но в его облике появилась мужественность, чего я раньше никогда не замечала.

— Пошли, Ванесса,— сказал он.— Экипаж подан.

Передо мной стояла повозка с двумя лошадьми в упряжке, как я и ожидала, но увидела я совсем не то, что ожидала. Длинная неуклюжая колымага была сколочена из тяжелых досок, а две рабочие лошади с толстыми ногами не подходили друг к другу. Кобыла была широкозадая, низкорослая и важная. Высокий костлявый мерин припадал на одну ногу.

— Позвольте познакомить вас,— сказал Крис.— Пушинка, Вояка, а это — Ванесса.

Крис не сказал ни слова про Герцогиню и Светлячка, и, прожив в Шэллоу-Крике две недели, я ни разу про них не спросила. К тому времени я, наверное, уже давно знала, хоть и не отдавала себе отчета, что Герцогиня и Светлячок существовали лишь в нашем воображении.

Я думала, что Шэллоу-Крик — маленький городок. Но оказалось, это просто название местности. В нескольких милях от Челонерс Кроссинга находилась начальная школа, больше тут ничего не было. За продуктами приходилось ездить в Челонерс Кроссинг. Мы добрались до фермы, и, вздрагивая от страха, я под защитой Криса пробралась через двор, где бродили коровы и похожие на волков собаки.

Крис сказал правду: дом в самом деле был сложен из деревьев. Он походил на большой старый сарай со стенами из тополиных стволов, промазанных глиной. К сараю был пристроен второй этаж — редкость в тех краях,— где размещались три спальни, одну из которых я делила с сестрой Криса Джинни, светлоглазой девочкой чуть младше меня, никогда не открывавшей рта, то ли от робости, то ли потому, что ей нечего было сказать. Я так и не узнала, почему именно: я сама не подпускала ее к себе и сколько ни упрекала себя за бессердечие, стремление отделаться от Джинни побеждало желание узнать ее поближе.

Тетя Тэсс, мать Криса, при всей своей суровости, старалась никого не обидеть, она постоянно была настороже и заискивала перед старшими дочерьми и их немногословными мужьями, а те не обращали на нее внимания или огрызались. Младшие дети то появлялись в доме, то исчезали,

как стайки безымянных рыбок. Сначала я не могла понять, каким образом столько людей живет здесь под одной крышей, а потом поняла: они тут не живут. Замужние дочери обитали поблизости, но продолжали вести общее хозяйство. Они без конца ссорились друг с другом и все-таки не могли разлучиться ни на день.

Крис не принимал участия в их дразгах, он жил сам по себе. И разговаривал обычно только с малышами; когда он работал во дворе или шел в хлев, дети не отставали от него ни на шаг, они не докучали ему, просто три-четыре малыша неизменно ходили за ним по пятам. Крис никогда их не прогонял. Мне это нравилось, но я его не понимала. Мне хотелось, чтобы он хоть раз возразил сестрам, или сказал, чтобы они ему не мешали, или даже прикрикнул на одного из малышей. Но Крис ни разу не изменил себе. Он просто не слышал раздраженных голосов, как не слышал прежде язвительных укоров дедушки Коннора.

В доме не было сеток ни на окнах, ни на дверях, и во время еды слеталось столько мух, что пища казалась месивом радужных крылышек и дрожащих иссиня-черных брюшек. Никто, кроме Криса, не замечал, что меня мутит, хотя именно от Криса я хотела скрыть свое отвращение.

— Помахай рукой,— тихонько говорил он.

— Неважно,— торопливо отвечала я.

Впервые после стольких лет дружбы мы не могли посмотреть друг другу в глаза. За столом дети дрались и хныкали, пока старшая сестра Криса не выходила из себя и не кричала:

— Замолчите! Замолчите! Замолчите!

Тогда Крис как ни в чем не бывало начинал расспрашивать меня про Манаваку.

Наступил сенокос, и Крис объявил, что будет ночевать в роще поближе к лугам. Он сказал, что не хочет каждый день трястись в повозке, но я догадалась, что это только предлог.

— Можно я тоже поеду? — взмолилась я.

Я ни за что не хотела оставаться в доме, где полно чужих людей и нет Криса.

— Надо, знаешь ли, подумать...

— Пожалуйста, ну пожалуйста, Крис! Я не буду тебе мешать. Обещаю.

В конце концов он согласился. Мы поехали на большой телеге; планки, прибитые по бокам специально для перевозки сена, громко скрипели, старые колеса скрежетали. Узкая проселочная дорога вилась среди низких кустов, зарослей шиповника, черники и волчьей ивы с серебристыми листьями. Иногда мы проезжали мимо купы тополей с высокими кронами бледно-зеленых листьев и один раз видели, как из ветвей выпорхнул краснокрылый дрозд и исчез в жаркой, пыльной голубизне неба.

Начались луга. Они тянулись по берегу озера. Наконец я могла взглянуть на воду, где когда-то давным-давно кишели чудища, похожие на огромных ящериц. Телега катилась по колючей траве, пока мы не доехали почти до самого озера, берега которого, будто плавучий луг, сплошь заросли зеленым тростником — прибежищем водяных птиц. Тростник плавно колыбался на ветру, а за ним блестела вода — глубокая, зеленовато-серая, она тянулась вдаль и вширь насколько хватало глаз.

Я не знаю, какими словами рассказать об этом озере. Его нельзя было назвать одиноким или диким. Так говорят о людях, а в нем не было ничего человеческого. Ничего привлекательного. Оно принадлежало к иному миру, где человек еще не родился. Я смотрела на серые просторы воды, и мне становилось страшно. Будто я видела лик бога, о котором постоянно помнила со дня смерти отца. Бога недостижимого, несокрушимого, неумолимого.

Крис соскочил с телеги.

— Мы будем здесь разбивать лагерь, прямо здесь? — спросила я со страхом.

— Нет. Я просто хочу напоить лошадей. Лагерь разобьем там повыше, в роще.

Я взглянула на рощу.

— Все равно слишком близко к воде.

— Успокойся,— засмеялся Крис.— Ноги не промочишь.



— Я не про ноги.

Крис взглянул на меня.

— Я знаю,— сказал он.— Возьми себя в руки и постарайся все-таки не раскисать, ладно? Иначе у нас ничего не получится.

Крис работал, пока не зашло солнце, а я лежала на лохматом стоге сена и смотрела в небо. Было жарко, надо мной дрожала голубая дымка и спиралью уходила вверх, сено в стоге хранило запах травы, пыли и дикой мяты.

Вечером Крис повел лошадей на озеро, потом подогнал телегу к самому обрыву, и внизу под ним мы расстелили наши одеяла. Крис развел костер, мы выпили кофе, съели банку тушенки и легли спать. Мы не умылись и не сняли одежду. Но только прижав колени к животу и завернувшись кое-как в колючее одеяло, я подумала, что никогда прежде не спала так близко от Криса, и почувствовала неловкость, неведомую мне еще год назад. Крис, по-моему, не видел ничего особенного в том, что рядом с ним лежит девочка. Может быть, ему хотелось, чтобы я была взрослой, даже наверное хотелось, но у него не было желания видеть во мне женщину. Ему нужно было что-то другое.

— Ты спишь, Ванесса?

— Нет. У меня под боком какой-то корень.

— Тогда подвинься,— сказал он.— Послушай, Ванесса, я ничего тебе не говорил прежде, потому что просто не знал, что сказать... Ты сама понимаешь, как я... когда твой отец умер и потом... ты не сердись?

— Нет,— с трудом проговорила я.— Неважно, Крис. Я понимаю.

— Мы с Ивеном иногда разговаривали. Он не всегда догадывался, о чем я говорю, но всегда слушал, понимаешь? Такие люди нечасто встречаются.

Некоторое время мы оба молчали.

— Ванесса,— заговорил наконец Крис,— ты замечала когда-нибудь, насколько ярче светят звезды, когда поблизости нет домов? Даже свет лампы там, на ферме, не дает

разглядеть звезды так хорошо, как здесь. Скажи, Ванесса, о чем ты думаешь, когда смотришь на звезды?

— Я...

— По-моему, люди не очень-то много думают о звездах, скажут иногда: «Ах, какая прелесть!» или еще что-нибудь в этом духе. А на самом деле звезды совсем не такие. Звезды и планеты сами по себе вовсе не прелесть — разве можно так про них говорить! Они огромные, среди них есть настоящие раскаленные шары, ты только представь себе, как эти огненные шары несутся в космическом пространстве. А другие звезды — мертвые, в них уже не осталось тепла, нисколько, только камень и лед. Хотя на некоторых должны быть живые существа. Интересно, как они выглядят, что они чувствуют? Мы никогда этого не узнаем. Но кто-то в один прекрасный день узнает. Я уверен, что узнает. Ты думаешь когда-нибудь о таких вещах?

Крису исполнился двадцать один год. Между нами все еще была слишком большая разница в возрасте. Годами я мечтала повзрослеть, чтобы разговаривать с ним как равная, но по-прежнему чувствовала, что это невозможно.

— Иногда,— сказала я так неуверенно, что «иногда» прозвучало как «никогда».

— Люди часто говорят, что верят в бога,— продолжал Крис,— потому что иначе не могут представить себе, как возникла Вселенная. Смешно. Если звезды и планеты несутся в бесконечности, вполне возможно, что они существовали всегда, просто существовали, без всякой причины. И никто их не создавал. Или же... что остается? Поверить в бога и в его жестокосердие. А разве он не жестокосерден? Стоит только оглянуться вокруг. Но считать бога жестокосердным — значит оскорблять его. Большинство людей не любит говорить о таких вещах, им это неприятно, понимаешь? Или неинтересно. Мне все равно. Я могу сам думать о чем захочу. И мне вовсе не обязательно с кем-нибудь разговаривать. А про бога я вот что хочу спросить: если начнется война — похоже ведь, что начнется,— люди и тогда станут говорить, что это дело рук божьих? Какой же бог способен

выкинуть такую штуку? Но все равно, вот увидишь, многие поверят, что война послана богом, и кто станет их разубеждать? Война — это работа, и по свету можно поездить, интересные места повидать.

Крис остановился, будто ждал от меня какого-то отклика. Но я молчала, и он снова заговорил:

— Ивен однажды рассказывал мне про войну. Он почти ничего не говорил о войне, но в тот раз рассказал про лошадей; он видел, как они завязли в грязи, утонули в грязи, понимаешь? И какие у них были глаза, когда они почувствовали, что не выберутся. Ты видела когда-нибудь, какие глаза у лошадей, когда они испугаются, когда обезумеют от страха, знаешь, как во время лесного пожара? Ивен сказал, что солдаты старались смотреть на лошадей, чтобы не думать о людях. Он тоже так делал. Ванесса, ты слушаешь последние известия?

— Я...

Мне оставалось только терзаться от сознания собственной беспомощности, от того, что я все еще не в силах ответить ему так, как мне хочется — понимая его до конца. Я чувствовала, что потерпела полное поражение. Я не могла разговаривать с ним даже о том, что знала. Что же касается всего остального — всего, чего я не знала, — мне было обидно, что Крис ушел так далеко вперед. Спасаясь бегством, я притворилась, что сплю, и вскоре Крис замолчал.

Когда началась война, Крис почти сразу уехал из Шэллоу-Крика и записался в армию. После ускоренной подготовки его отправили в Англию. Почти год мы ничего о нем не знали, а потом я получила письмо.

— Ванесса, что случилось? — спросила мама.

— Ничего.

— Не притворяйся, — решительно заявила мама. — Скажи, родная, что пишет Крис?

— Ничего особенного.

Мама посмотрела на меня с любопытством и вышла из комнаты. Она, конечно, не стала просить у меня письмо. Я не

показала ей, и она больше о нем не спрашивала.

Через полгода мама получила письмо от тети Тэсс. В Англии у Криса началось психическое расстройство, его уволили из армии и отправили домой. Криса положили в местную больницу, и никто не знал, сколько времени он там пробудет. Вначале он буйствовал, но потом это прошло. Врачи сказали тете Тэсс, что Крис полностью успокоился.

Буйствовал. Это слово никак не вязалось с Крисом — кто, как не он, умел держать себя в руках. Я не могла себе представить, какая непереносимая боль, какое отчаяние низвергли его в эту еще более глубокую пропасть отчаяния и боли. И все-таки полное спокойствие, наверное, хуже. Неужели это возможно? Неужели Крис сидит неподвижно в сером больничном халате, с застывшим взглядом и безжизненным лицом?

Мама очень любила Криса, но ее мысли устремились прежде всего ко мне.

— Когда я вспоминаю твою поездку в Шэллоу-Крик, ваши ночевки на озере, — сказала мама, — и думаю, что могло случиться...

Я тоже думала о том, что могло случиться, но мы с мамой думали о разном. Впервые в жизни я начала понимать или скорее догадываться, как жаждал Крис поделиться своими мыслями. Он прекрасно знал, что тринадцатилетняя девочка — плохой собеседник. Но другого не было. Жизнь все настойчивее лишала его выбора. Ему пришлось вернуться в родной дом, ставший чужим, а когда у него появилась возможность вырваться, он попал в водоворот еще более страшных событий, потрясших его куда сильнее, чем он мог себе представить. В ту ночь на озере я вслушивалась в его слова, но только сейчас по-настоящему услышала, что он сказал. Окажись я тогда хоть в сто раз умнее, в его жизни все равно ничего бы не изменилось, но мне все-таки было горько, что я так опоздала.

Однажды во время каникул, когда я приехала из колледжа домой, мама попросила меня помочь ей убрать чердак. Мы разбирали коробки и ящики, набитые ненужными вещами:

изношенными платьями, учебниками и старинными безделушками, давно утратившими ценность. В одной из коробок я нашла крошечное седло, которое Крис когда-то сделал мне в подарок.

— Что слышно, как он сейчас? — спросила я, устыдившись, что не спросила о Крисе раньше.

Мама взглянула на меня.

— Все так же. Никаких перемен. Врачи не рассчитывают на серьезное улучшение. — Она отвернулась. — Он всегда был... полон надежд. Даже в самое безнадежное время. Вот что мне странно. Он был полон надежд наперекор всему.

— Может быть, не в надеждах дело, — сказала я.

— А в чем же?

Мне было трудно ответить на этот вопрос. Я вспомнила все его планы, заведомо обреченные на неудачу, бессмысленные расчеты, за которые он цеплялся, не в силах придумать ничего лучшего, все отважные и пустые всплески его фантазии, бессильные перед лицом депрессии, охватившей мир и его самого.

— Не знаю, — сказала я. — По-моему, дело в том, что ему постоянно приходилось нести непосильную ношу. Помнишь то письмо?

— Да.

— Крис написал тогда, что тело его можно заставить маршировать и даже убивать, но он очень ловко всех обманул. Он больше не живет в своем теле.

— Ох, Ванесса, — начала мама, — ты должна была что-то заподозрить уже тогда.

— Конечно, только...

Я не могла договорить, я не могла сказать маме, что это письмо было лишь последним отчаянным броском на избранном им пути уклонения от битвы, чуждой ему по самой его природе.

Я взяла крошечное седло, положила на ладонь и перевернула.

— Смотри. Его тавро, название его ранчо. Крест.

— Какое ранчо? — в недоумении спросила мама.

— Ранчо, где он держал своих скаковых лошадей. Герцогиню и Светлячка.

Когда-то я слышала стихотворение, и мне вспомнилось несколько слов — одна-единственная строчка. Я знала, что в стихотворении говорилось о возлюбленном, который боится наступления утра, но для меня оно приобрело другой смысл, связалось с другой картиной:

Не спешите, кони ночи, не спешите...

Кони его ночи не спешили, медленно перебирая ногами, они везли его сквозь дни, недели и месяцы. Мне не дано было знать, где он странствует: может быть, на земле, поработенной ужасами или царями-чудищами, обитавшими некогда в озере, а может быть, в облаках, научившись наконец грезить не просыпаясь.

Осторожно, но без сожаления я положила седло назад в картонную коробку.

# Фредерик Филип Гроув

## Снег

К концу ночи метель стихла, но до рассвета было еще далеко. Темно-синее небо, усыпанное яркими звездами, засверкало, будто пронзенное множеством стальных клинков, как нередко бывает на равнинах Северной Америки в разгар зимы, когда ртутный столбик опускается до самого нижнего деления.

На западе Орион уже клонился к горизонту. Было часов пять-шесть утра.

В низкорослом лесу, окаймлявшем Большое болото, укрытый густым, облетевшим к зиме осинником, стоял внушительных размеров дом, на совесть сложенный из толстых побеленных бревен,— такие дома ставят поселенцы-холостяки, надумав жениться. В эту морозную ночь дом тоже будто обратился в глыбу льда. Даже воздух вокруг замер от холода, и тонкая белая ниточка дыма, протянувшаяся к верхушкам осин, казалось, случайно повисла над окоченевшей трубой.

Какой-то человек, увязая в глубоком свежем снегу, с трудом пробирался через двор. Добравшись до двери дома, он долго стучал сначала костяшками пальцев, потом кулаками.

Прошло две-три минуты. Наконец дом очнулся — кто-то зашевелился, видно, встал с постели.

Сухопарый мужчина среднего роста, стоявший перед дверью на приступке из толстого полена, был в овчинном полушубке, высоких резиновых сапогах с заткнутыми в них брюками и в шапке с опущенными ушами; он ждал съевшись, засунув руки в карманы короткого полушубка, будто хотел стать как можно меньше, чтобы оставить как можно

меньше места для ледяных укусов мороза. Сухой колючий снег забивался в сапоги, в каждую складку брюк; защищаясь, мужчина топал ногами. Пар от дыхания оседал толстым слоем инея на поднятом воротнике полушубка, спрятавшем почти весь его подбородок.

Наконец изнутри отодвинули засов.

Высунулась голова человека, едва различимая при свете звезд.

Потом открылась дверь, в зловещей тишине мужчина в полушубке вошел в дом, по-прежнему тяжело топая ногами.

Он не проронил ни звука, пока хозяин дома не закрыл дверь. Наконец в холодном сумраке сеней послышалось:

— Редклифф пропал. Уехал в город около полудня, к вечеру должен был добраться до дома. Боимся, не заблудился ли.

Другой мужчина, невидимый в темноте, слушал, стуча зубами от холода.

— В городе он не остался, ты точно знаешь?

— Тут, видишь, какое дело,— неуверенно продолжал пришедший,— одна его лошадь вернулась.

— Одна?

— Одна. Уехал на двух, одна вернулась. Жена кое-как добралась до меня, просила помочь.

Хозяин не произнес больше ни слова. В полной темноте он подошел к двери в задней стене и открыл ее. Пошарил в поисках спичек, нашел и зажег лампу. В комнате стояла большая печь с автоматической подачей угля, но топили ее дровами. Хозяин открыл отдушины и стряхнул золу с решетки, два больших еловых полена, оставленные на ночь, еще тлели. Не прошло и минуты, как они разгорелись и запыхали.

Ночной гость вошел, мигая от света лампы, и огляделся. В комнате стало уже заметно теплее.

— Я позову Билла,— сказал Эйб Кэрролл, хозяин дома.

Он был среднего роста или чуть выше, но с огромными плечами, будто созданными, чтобы носить тяжести. Рядом с ним другой — Майк — казался щуплым, слабым и низкорослым.



Кэрролл вышел из комнаты, прошел через пустые холодные сени и поднялся наверх.

Через несколько минут высокий ладный худощавый парень как пуля влетел в комнату, где ждал Майк. Билл, работник Кэрролла, прибежал в нижнем белье, держа в руках скомканную одежду. Не теряя ни минуты, он начал одеваться, подпрыгивая, притоптывая, размахивая руками.

— Здорово, Майк! — кивнул он Майку Сobotскому. — Что это Эйб говорит? Редклифф пропал?

— Выходит, что так, — вяло откликнулся Майк.

— Вот это да! — присвистнул Билл. — Ничего удивительного. В такую метель. Надо было переждать в городе. За каким чертом высовывать нос в такую погоду!

— Метель началась только к вечеру, — робко возразил Майк.

— Это верно. И продолжалась не так уж долго, — согласился Билл, натягивая комбинезон. — Но пока мело...

В комнату вошел Эйб Кэрролл с овчинным полушубком, меховой шапкой и длинным шерстяным шарфом, перекинутым через плечо. Он встал перед печкой, вывернул полушубок мехом наружу и протянул к огню; с его приметного широкого лица, изрезанного глубокими морщинами, не сходило выражение озабоченности. Через несколько минут, не говоря ни слова, он решительно всунул руки в рукава.

Майк Сobotский все еще стоял, согнувшись, у печи и не мог унять дрожь, хотя распахнул полушубок и старался вобрать все тепло, исходящее от печки с его стороны.

Эйб без лишней суеты кончил одеваться и направился к двери. Проходя мимо Билла, он тронул его локтем.

— Пошли, — сказал он и, обращаясь к Майку, показал на печку: — Закрой отдушины.

Через несколько минут перед домом уже били копытами и храпели лошади...

Майк застегнул полушубок, натянул рукавицы и тоже вышел на улицу.

Они сели на трех неоседланных лошадей. Эйб тронул первым, Майк и Билл поскакали за ним через свеженаметан-

ные сугробы во дворе, миновали ворота и выехали на дорогу. Здесь их больше не защищали деревья, укрывавшие дом, и слабый, но все крепчавший северо-западный ветер резал лица будто ножами.

Эйб ударил каблуками в бока вставшей на дыбы лошади. Она не слушалась, потому что он хотел свернуть с дороги и поехать на юго-запад прямо через поле.

Было еще совсем темно, хотя кое-где свет звезд слабо отражался от повернутых к ним склонов сугробов. Сугробы достигали шести, восьми, местами десяти футов высоты, а мелкий легкий снег все сыпал и сыпал. При такой погоде любые следы замечает за полчаса. Лошади проваливались по брюхо, взметая белые тучи снега, закрывавшие с головой их самих и всадников.

Минут за двадцать-тридцать такой езды они добрались до двух небольших деревянных построек, будто присевших на корточки посреди снежной равнины. Въехав через ворота во двор, они миновали первую из них и подъехали к другой — небольшой конюшне, где кони, фыркая, остановились под защитой стены.

Майк слез с лошади и бросил повод Биллу. Он пошел к дому, стоявшему футом в ста от конюшни. Дом был еще меньше конюшни — лачуга футов пятнадцать в длину и двенадцать в ширину. Густой белый столб дыма тянулся из трубы к юго-востоку.

Вернулся он с фонарем. Билл и Эйб спрыгнули на землю и открыли дверь, чтобы осмотреть лошадь, которую жена Редклиффа завела в конюшню.

Лошадь еще не успокоилась, она испуганно косила глазами, раздувала ноздри, храпела и шарахалась от прыгающего света фонаря. На ее шкуре лежал иней, она была в упряжке, хотя постромки были привязаны к чересседельнику.

— Он сам ее отпустил, — сказал Майк, заметив привязанные постромки. — Наверное, остановился и выпряг.

— Должно быть, застрял в сугробе, — согласился Билл.

— И попробовал выбраться... — добавил Эйб.

Они помолчали, каждый занятый своими мрачными мыслями. Время от времени какое-то странное светящееся облачко толчками вырывалось из ноздрей стоявшей в конюшне лошади.

— Я схожу за саними,— сказал наконец Эйб.

— Лучше я,— вызвался Билл.— И захвачу лошадей покрепче. Кобылу оставим здесь, в конюшне.

— Давай.

Билл вскочил на лошадь и взял за повод лошадь Эйба. Через мгновение он исчез в темноте.

Эйб и Майк привязали кобылу и лошадь Майка, каждую в отдельном стойле, вышли, закрыли дверь и пошли к дому.

В лачуге при свете маленькой керосиновой лампы они увидели женщину с бескровным лицом, она дрожала так, что стучали зубы, и тщетно грела у печи холодные от лихорадки руки, взгляд ее тусклых, померкших глаз застыл на вошедших мужчинах.

Дети спали; старшая девочка лежала в одеяле на полу, свернувшись клубком, как собачка, четверо других приткнулись на узкой кровати с сеником вместо матраса — двое в изголовье, двое в ногах,— новорожденный младенец качался в колыбели, вернее, на широкой доске, подвешенной к балке, подпиравшей крышу лачуги.

Вторая, незастланная кровать была пуста. В комнате стоял тяжелый запах непроветренного помещения, где спит много людей.

— Мы постараемся его найти,— негромко сказал Майк.— Пригоним только сани. Он, наверное, решил добратсья пешком.

Женщина молчала. Ее била дрожь.

— Надо бы захватить одеяла,— продолжал Майк.— И виски, если у вас найдется.

Майк и Эйб стояли у печи напротив женщины и грели руки, рукавицы они засунули под мышки.

Женщина указала взглядом на самодельный шкафчик, прибитый к стене, и безучастно прислонилась спиной к печке. Майк подошел, открыл дверцу, достал бутылку и сунул

в карман полушубка. Потом снял одеяла с пустой кровати, кое-как свернул их в узел, бросил на пол и, вернувшись к печке, стал сворачивать папиросу одеревеневшими пальцами.

Так они стояли около часа.

Эйб не сводил глаз с женщины. Ему хотелось как-то утешить ее, подбодрить. А как, что ей сказать?

Она была дочерью немецкого поселенца Альтмана, получившего участок в глухом лесу, милях в шести-семи к северо-востоку от Эйба. Лет десять назад этому уже немолдому бородавтому мужчине с чересчур благообразными манерами стало не под силу жить в лесной глуши, валить деревья, корчевать пни и расчищать от камней каждый отвоеванный кусок земли. Он продал свой участок и купил в степи ферму и триста двадцать акров земли, надеясь постепенно расплатиться с долгами выручкой от будущих урожаев, а чтобы приобрести необходимый инвентарь, выдал несколько долговых расписок. Но дело, как говорится, не пошло. Альтман лишился всего, что приобрел, и вернулся в старый дом. Он надеялся на помощь сыновей — двух крепких, рослых парней, вполне способных расчистить еще несколько делянок, собрать урожай и расплатиться с отцовскими долгами. Но сыновья не захотели возвращаться в лес, рассчитывая получить более выгодную работу в городе. Быстро заработав необходимую сумму денег, они, конечно, помогли бы родителям. Но быстро заработанные деньги так же быстро уплыли. Редклифф, зять стариков, оставался их последней надеждой. Они должны были вот-вот расстаться со своим домом и, может быть, на старости лет нашли бы прибежище у Редклиффа, хотя на его участке в песчаной низине по соседству с болотом слой почвы был такой тонкий, что когда участок расчищали от вереска, земли совсем не оставалось. И все-таки, пока Редклифф был жив, жива была и надежда. Куда им деться, если Редклиффа не стало? А его жена еще совсем девочка, хоть и родила шестерых детей.

Два крошечных квадратных оконца лачуги посерели.

Эйб наконец расслышал какой-то шорох, он открыл дверь

и вышел на улицу. Билл стоял у порога, лошади отряхивались от снега, одна била копытом о землю.

Эйб снова открыл дверь и взглядом показал Майку, что пора. Майк подхватил узел с одеялами, надел рукавицы и вышел.

Эйб потянулся к вожжам, но Билл его опередил:

— Дайте лучше мне. Я тут кое-что приметил.

И как только двое мужчин постарше влезли в сани и втиснулись на узкое сиденье, Билл прищелкнул языком.

— А ну пошли! — крикнул он и хлестнул лошадей.

Лошади рванули и понеслись.

Билл повернул назад, к ферме Кэролла. Лошади проваливались, вставали на дыбы, храпели и наконец, вскинув головы, перешли в галоп, раскидывая направо и налево комья снега и взметая тучи свежей снежной пыли, особенно с подветренной стороны. Они скакали под углом к ветру и упорно старались свернуть в сторону. Но Билл не выпускал из рук кнута и умело заставлял их двигаться в нужном направлении.

Кругом лежала снежная пустыня: снег, серый при первых проблесках рассвета, ничего, кроме снега. Потом, как призраки-великаны, как тающие на глазах видения, появились смутные очертания деревьев ближайшей рощи, полускрытой завесой неохотно отступающей ночи.

Билл повернул на юг, и они поскакали по прямой дороге вдоль границы участка Эйба Кэролла. Билл пристально смотрел по сторонам. Внезапно он придержал лошадей.

— Тпру! — закричал он, дергая за поводья, отпуская их на мгновение и снова натягивая изо всех сил. И когда возбужденные лошади встали на дыбы и, тяжело водя боками, наконец остановились, Билл крикнул: — Проскочил!

Он обернулся назад.

— Что случилось? — спросил Эйб.

— Вторую лошадь проскочил. Бежала на запах вашей конюшни. Сдохла... замерзла, насмерть, — ответил Билл.

И почти сразу указал на огромный белый нарост над сугробом слева от дороги.

— Вот она! — крикнул Билл, повернул лошадей по ветру и остановился.

Справа в мутном утреннем свете едва виднелась роща, окружавшая дом Эйба.

Майк и Эйб вылезли из саней и руками разгребли снег. Под ним лежала лошадь, окоченевшая, неподвижная, превращенная морозом в каменное изваяние.

— Наверное, уже давно здесь, — сказал Эйб.

Майк кивнул:

— Часов пять-шесть, — и добавил: — Не учуяла конюшни. Ветер переменился.

— В этом все дело, — отозвался Эйб и показал на складку на боку сугроба: продольная линия нижней части шла на северо-восток, а верхушку намело уже в другом направлении.

Еще несколько минут они стояли молча, не зная, на что решиться.

Потом Эйб вернулся к саням и взялся за вожжи.

— Теперь я буду править, — сказал он.

Майк влез в сани.

Оглядевшись вокруг, Эйб понял, где они находятся. От его собственного забора их отделяло не больше двухсот-трехсот футов. Это помогло ему определить точное направление ветра. Эйб прищелкнул языком:

— А ну пошли!

Лошади, чувствуя смутное беспокойство, бросились вперед. Они неслись без дороги, прямо на запад, ныряя в бесконечные сугробы, утопая в снегу, и не было посреди этой белой пустыни ни единого ориентира, подсказывавшего им путь.

Они неслись полчаса, час, еще час...

За все это время ни один не открыл рта. Эйб знал эти песчаные низины куда лучше Майка и Билла, в любом деле он разбирался лучше их обоих... Если кто-нибудь мог найти пропавшего человека, то только Эйб.

А Эйб рассуждал так. Лошадь шла против ветра. Значит, была для этого причина, а какая могла быть у лошади причи-

на, если не запах. Но в таком случае лошадь старалась идти напрямик, насколько позволял снег. Песчаные низины тянулись к юго-западу миль на шестнадцать, и единственная ферма на всем этом пространстве, единственное жилье — дом Редклиффа. Если Эйбу удастся повторить путь лошади в обратном направлении, он найдет то место, откуда она начала свой бег.

Слева над горизонтом взошло бледное солнце и бросило на снег первые равнодушные лучи.

И вдруг прямо перед собой они увидели торчащую из снега боковину саней.

Эйб остановил лошадей, передал вожжи Биллу и прыгнул на снег. Вслед за ним Майк. Никто не сказал ни слова.

Двое мужчин откопали передок и попробовали сдвинуть сани Редклиффа. Но они находились на том участке песчаной низины, где когда-то сводили лес огнем. Сани заклинились между обугленными пнями, засыпанными снегом. Вот почему Редклифф выпряг лошадей и отпустил их. А что еще ему оставалось делать?

Сани были до краев забиты снегом, особенно высокий сугроб намело в задке, где стояли три мешка с мукой, прислоненные к бочонку, до половины наполненному небольшими свертками, пересыпанными снежной крупой.

Снег лежал вровень с верхним краем саней. Эйб бродил вокруг, приглядываясь и присматриваясь, и когда он в очередной раз обходил сани, снег под ним внезапно провалился — сугроб оказался полым.

Подозревая неладное, Эйб несколькими быстрыми движениями разгреб верхний слой снега.

Внизу, в глубине снежной пещеры, лежал человек и, казалось, спал — такое спокойное, умиротворенное выражение было у него на лице. Как будто он закрыл глаза, накинул на плечи пару мешков и заснул. Редклифф даже не попытался добраться до дома пешком. Промерзнув до костей, он уступил желанию передохнуть, укрыться от непогоды любой ценой — желанию, овладевавшему каждым приговоренным замерзнуть насмерть.

Не говоря ни слова, Эйб и Майк подняли Редклиффа и положили на снег рядом со своими саними.

За это время Билл выпряг лошадей и привязал поводья к передку саней Редклиффа. Эйб и Майк молча следили за тем, что он делает. Четыре раза пытались лошади рвануться вперед, взъяренные нещадными ударами Билла, хлеставшего их крученой веревкой. Но сани не двигались.

— Топор нужен,— сказал наконец Майк,— пни срубить. За саними потом вернемся.

Майк снова перепряг лошадей, и они повернули в обратную сторону. Взрытые сугробы, через которые они добирались до этого места, указывали им путь.

Они уложили застывшее мертвое тело поперек своих саней, оставив открытыми обе боковые дверцы, потому что иначе не могли уместить Редклиффа, вскарабкались на сиденье и поджали ноги, чтобы не касаться трупа.

Так они вернулись к дому Эйба Кэролла и по-прежнему молча отнесли тело в амбар.

Покончив с этой работой, они постояли несколько минут, раздумывая, что делать дальше. Потом Билл распряг лошадей, отвел в конюшню и задал им корма.

— Я скажу жене,— предложил Майк.— Ты съездишь к отцу?

Эйб кивнул.

— Сначала позавтракаем,— предложил он.

Было десять часов утра, все трое ничего не ели со вчерашнего вечера.

Эйб приближался к дому старика и неотступно думал о женщине в лачуге — одинокой женщине с шестью детьми, еще не знающей, что муж ее мертв.

Жилище Альтмана в лесной глуши, казалось, олицетворяло мирную, благоустроенную жизнь: просторный бревенчатый дом из двух комнат. Двери и окна выкрашены в зеленый цвет. Жилище, с которым люди срослись и не собираются расставаться...

Эйб постучал, ему открыла женщина, которую он видел один раз в жизни на распродаже, когда Альтманы лишились



всего своего имущества; женщина была неправдоподобно толстая и явно не вмещалась в платье. Высокий мужчина, широкий в плечах и в груди, с длинной, вьющейся, уже поседевшей бородой, стоял позади жены, стараясь разглядеть через ее плечо, кто пришел. Гость на лесной ферме — событие.

— Входите! — радостно сказал старик, узнав Эйба. — Ну и метель была!

Эйб вошел в кухню, служившую одновременно столовой и гостиной. Он сел на предложенный стул и посмотрел на двух стариков, продолжавших стоять. Внезапно по выражению его лица они поняли, что случилась беда. Эйб мог больше не притворяться.

— Редклифф погиб, — сказал он. — Возвращался домой из города вчера вечером и замерз насмерть.

Старики тоже сели, Эйбу показалось, что у них просто подогнулись колени. Онемев, они смотрели на него, широко раскрыв глаза, полные смятения и ужаса.

— Я подумал, вы, может, захотите поехать к дочери, — осторожно сказал Эйб.

Широкое туловище старика будто уменьшилось в размерах за несколько минут, что он сидел на стуле. Благообразие и самоуверенность этого красивого мужчины улетучились без следа. Глаза женщины наполнились слезами.

Так они сидели и молчали минуту, другую, третью...

Потом женщина сложила толстые пухлые ладони, уронила голову на грудь и, всхлипывая, проговорила:

— Все мы в руках господних!

# Джойс Маршалл

## Старушка

Он изменился, подумала Молли, едва увидела мужа на вокзале в Монреале. Он изменился... Эти два слова глухо стучали у нее в мозгу долгие часы, пока поезд увозил их на север Квебека.

На нем не было формы, но изменилась не только одежда. Его лицо словно одеревенело, а уголки рта безвольно опустились. Изредка Молли оборачивалась и видела, что он не спускает с нее настороженных глаз.

— Я рад, что ты здесь,— твердил он.— Я боялся, Молли, что ты никогда не решишься.

— Я знаю,— сказала Молли.— Что поделаешь, я не могла уехать, пока мама не встанет на ноги... Три долгих года прошло, даже не верится, правда?

Он без конца повторял, что рад ее видеть, но больше ему, казалось, нечего было сказать. Он просто отвык от меня, мысленно успокаивала себя Молли. Они были знакомы меньше года перед тем, как поженились в Англии во время войны, и вскоре после свадьбы он вернулся в Канаду. Он, конечно, плохо представлял себе ее жизнь в Англии, а она плохо представляла себе его жизнь здесь. Когда они доберутся до дома — каким бы ни оказался этот чужой дом в таинственной северной стране, куда увозил их поезд,— он снова станет прежним Тодди.

Розовые блики чуть оживили серый рассвет, когда они приехали в Миссавани,— единственные пассажиры, сошедшие с поезда в этом маленьком городке, приткнувшемся на самом берегу озера Сент-Джон. Увидав название города на посеревшей доске, Молли слегка приободрилась. Как часто

выводила она это странное сочетание букв на письмах к Тодди: два «с» и неожиданно одно «н». Она знала, что где-то там, за теснившимися друг к другу приземистыми одноэтажными домишками стояла большая бумажная фабрика Мейзона, а милях в тридцати от нее — электрическая станция Тодди, одна из многих, снабжавших фабрику электричеством. Тодди рассказывал ей, что от фабрики до электростанции проложена дорога, зимой непроезжая.

Позади вокзала их ждал угрюмый подросток с собаками. С великолепными собаками: черные в кремовых пятнах, они, как показалось Молли, радостно приветствовали ее, широко разинув пасти. Молли протянула руку к носу вожака, но собака рванулась из постромок, и Тодди оттащил Молли назад.

— Она злая, — сказал Тодди. — Здесь все собаки злые, как волки.

Для Молли это было непривычно долгое путешествие: сначала по серому снегу, расчерченному розовыми полосами, потом под таким ярким, слепящим солнцем, что у нее разболелись глаза.

Из-под ног собак летели твердые, обжигающие комья снега, по сторонам мелькали черные ломкие ели и поблескивали стволы берез, будто обтянутые белым шелком. В полной тишине слышались только тяжелое дыхание собак, назойливый скрип снега под полозьями саней и голос Тодди, изредка бросавшего одно-два слова по-французски, направляя собак.

Наконец Тодди молча похлопал Молли по спине и протянул руку в варежке вперед, через ее плечо. Перед глазами Молли, будто из воздуха, возникла картина: квадратный красный дом на вершине голого холма, плотина той же высоты, что холм, водопад в клубах пара, низвергающийся в водоворот белых бурунов, и серый со вздутыми боками цилиндр электростанции у подножья холма.

— Моя старушка! — крикнул Тодди, и Молли увидела, что он указывает не на дом наверху холма, где им предстояло жить, а вниз, на электростанцию.

В Англии привычка Тодди говорить об электростанции как о живом существе казалась Молли милой и приятной, она вполне совпадала с ее представлением о своеобразии северной Канады. Но сейчас от слов Тодди ей стало не по себе. Дом выглядел удручающе мрачным, а грохот падающей воды оглушал, убивал все вокруг.

В кухне красного дома стоял запах бедности, как отметила про себя Молли. Впрочем, разве можно ожидать, что мужчина справится с домашним хозяйством. Надо закрыть дверь, тогда шум падающей воды перестанет терзать уши и сразу станет легче, уговаривала себя Молли. Она торопливо оглянулась, но Тодди уже закрыл дверь. Наверное, где-то открыто окно. Так не бывает, люди все-таки не живут в одном доме с водопадом. Так не бывает.

— Бодрящий звук,— сказал Тодди.

Молли бросила на него отсутствующий взгляд, едва слышав, что он сказал. Где-то открыто окно, где-то наверняка открыто окно.

Тодди торопливо показал Молли дом, прекрасно обставленный и щедро натопленный благодаря электричеству. Потом обернулся к ней и сказал, почти извиняясь:

— Надеюсь, ты не обидишься, если я спущусь вниз. Мне хочется посмотреть, как там моя старушка.

В его глазах светилось радостное нетерпение, и Молли улыбнулась.

— Разумеется, иди,— сказала она.— Я прекрасно обойдусь без тебя.

Тодди ушел, Молли распаковала чемоданы и спустилась в гостиную. Из широкого окна были видны электростанция, буруны и заснеженная равнина, исчезающая на горизонте в черной чаще соснового леса. Снег, подумала Молли. Я всегда думала, что снег белый, а здесь он голубой. Голубой и коварный: снег-капкан. И Молли вдруг отчетливо поняла, что они с Тодди полностью отрезаны от остального мира — отрезаны даже от ближайшего города более чем тридцатью милями снежной равнины, непроходимой лесной чащей и бездорожьем.

Молли нашла ведро со шваброй и взялась за уборку кухни. Ей хотелось, чтобы к приходу Тодди все блестело. У нее просто не останется времени, чтобы смотреть на сверкающий снег, отчего почти тут же слепнут глаза. К грохоту воды, наверное, можно привыкнуть. Ей предстоит подолгу оставаться одной в этом доме. Придется научиться находить себе дело.

Тодди вернулся только вечером. Он сказал, что на электростанции творится черт знает что.

— Эти механики-французы со своими помощниками — лодыри и бездельники. Уму непостижимо, как они ухитрились запустить все на свете за каких-то два дня.

Молли накрыла к обеду маленький стол в гостиной. Тодди жадно поглощал пищу, занятый своими мыслями.

Тодди действительно стал другим. Она не ошиблась. Молли надеялась, что здесь, в Канаде, они с Тодди сблизятся, но никогда еще он не был так далек от нее. Странно, но у Молли появилось ощущение, будто ничто вокруг для него просто не существует — и этот обед тоже, — ему нужны только турбины и генераторы электростанции там, внизу.

Ну и что ж, решительно сказала она себе, ты вышла замуж за этого человека, потому что тебе исполнилось тридцать восемь, а он выглядел вполне привлекательно в офицерской форме. Ты приехала к нему сюда, потому что мечтала оказаться в новом, незнакомом месте. И ты начинаешь придумывать бог знает что только потому, что твой муж — занятой человек и почти не замечает твоего присутствия.

— Я хочу, чтобы в доме стало по-настоящему уютно, — произнесла она с такой настойчивостью, что с трудом узнала собственный голос.

— Что... ах да... конечно, очень хорошо. Переставь все, как тебе нравится.

Тодди кончил есть и встал.

— А сейчас мне нужно вернуться назад.

— Назад? — На этот раз он уже не извинился, с грустью отметила Молли. — Неужели старушка не может отпустить

тебя на один вечер, даже если твоя жена только что приехала из Старого Света?

— У меня еще есть дела,— сказал Тодди.— Одиночество не должно тебя смущать. Включи радио, хотя боюсь, из-за электростанции могут быть сильные помехи. Я буду всего в пятидесяти футах от тебя.

Прошла неделя, прежде чем Тодди решил, что электростанция в полном порядке и он может показать ее жене.

Тодди с гордостью показывал Молли все: манометры на стене, четыре широкобокие лоснящиеся турбины, припавшие к полу точно раскормленные ленивцы, одна из них специально разобранная, чтобы он мог объяснить, как устроен генератор.

— Это страшно интересно, дорогой,— повторяла Молли, пытаюсь понять, почему он так любит безжизненное железо и светится от радости при виде сцепленных друг с другом колесиков.— Сейчас здесь все в прекрасном состоянии,— добавила она,— я надеюсь, тебе больше не придется отдавать столько времени своей старушке.

— Ты не представляешь, как быстро она может разладиться,— буркнул Тодди.

Он по-прежнему оставался на электростанции с восьми утра до позднего вечера и заходил домой только поесть.

Молли трудилась не покладая рук, и скоро весь дом был в идеальном порядке. Ей стало труднее находить себе занятие. Она прочла все книги, привезенные из Англии, и даже старые журналы, которые нашлись у Тодди. Выйти из дому она не могла. Единственная расчищенная дорожка вела вниз, на электростанцию. У нее не было ни лыж, ни снегоступов, а Тодди все никак не мог выбрать время и научить ее ездить на собаках. Соседей поблизости не было, телефон всегда молчал, ни молочник, ни булочник не звонили по утрам в дверь, и только раз в две недели один из рабочих электростанции доставлял продукты и почту из Миссавани.

Молли с нетерпением ждала этого дня: он нарушал монотонность ее жизни, радовал письмами из дома. Все мужчины в округе жили в отдельных домах, разбросанных по нуме-

рованным участкам, как это принято в Северном Квебеке, и ежедневно проезжали на собаках шесть, семь, а то и восемь миль до электростанции и обратно. Молли пыталась завязать с ними разговор об их жизни, об их семьях, но они отмалчивались, хотя соблюдали вежливость, и Молли чувствовала, что она для них — частичка красного дома, который они не любят.

Молли упорно стремилась создать хоть какое-то подобие общей жизни с Тодди. Но хотя в Англии он постоянно рассказывал ей что-нибудь занятное, здесь он становился все менее разговорчивым и все глубже погружался в заботы об электростанции. Тодди воспринимал присутствие жены как нечто приятное, но у него не было ни малейшего желания уделить ей хоть минуту своего времени.

— У меня к тебе просьба, Тодди,— сказала она однажды,— давай сегодня или завтра выйдем вместе из дому и ты научишь меня править собаками.

— Куда ты собираешься ездить? — спросил Тодди.

— Ах, Тодди, куда-нибудь,— ответила Молли.— Буду кататься по снегу.

— Но я очень занят,— заторопился Тодди.— У меня есть работа, прости, я очень занят.

И в эту минуту Молли снова увидела в его глазах то выражение, которое испугало ее в первый день. Но теперь Молли знала, что оно означает. Он смотрел на нее недоверчивым, пронизывающим взглядом, будто перед ним была турбина.

— Неужели ты не можешь освободить один вечер? Помоему, твои машины прекрасно делают свое дело без посторонней помощи. Неужели, Тодди, ты не можешь расстаться с ними даже в воскресенье?

— А что, если в мое отсутствие что-нибудь случится?

— Ах, Тодди, нельзя же проводить на электростанции двадцать четыре часа в сутки. Я твоя жена, я тоже нуждаюсь в твоём внимании. Тебе так хотелось, чтобы я поскорее приехала сюда. Я прекрасно понимаю, как непереносимо жить здесь одному, постоянно слышать этот рев воды и...

Внезапно Тодди обуял гнев, его лицо исказилось.

— Что ты хочешь сказать? — закричал он.

— Ничего особенного, я понимаю, ты жил здесь три года совсем один...— начала Молли.

— И, по-твоему, просто одичал,— в ярости прервал ее Тодди.— Откуда ты взяла, что со мной может случиться что-либо подобное? Я прожил в этой стране двадцать лет, черт побери, безвыездно, если не считать войну.

Одичал. Он сам произнес это слово, и на мгновение оно застряло у Молли в мозгу. Она знала, что за ним кроется. Тодди часто употреблял его, рассказывая о тех, кто приезжал на север и оставался здесь жить. Тодди привык к этим местам, но какое-то время он провел в Англии. А потом вернулся один в этот дом, где каждый год зима на многие месяцы погребала его заживо, где за стенами лежал слепящий снег, а по ночам завывал ветер и круглые сутки грохотала вода.

— Тодди,— сказала она, прогоняя тревожные мысли,— давай заведем весной корову или даже двух коров. Я умею обращаться со скотом, не зря же я трудилась всю войну в сельскохозяйственном отряде. У меня будут какие-то интересы...

Тодди в изумлении посмотрел ей в лицо.

— Разве ты не моя жена? — спросил он.

— О чем ты? Конечно, я твоя жена.

— Почему ты тогда говоришь, что тебе нужны какие-то интересы? Тебе недостаточно быть моей женой?

— Но я... я так много времени провожу одна. У тебя есть работа, а мне почти совсем нечего делать.

Тодди резко повернулся, собираясь идти на электростанцию. В дверях он взглянул на Молли через плечо, но не произнес ни слова, только бросил на нее пристальный взгляд.

Он не хочет, чтобы у меня появились какие-то интересы, подумала Молли с тоской и страхом. Он смотрит на меня с недоверием, как на свои машины. Может быть, это как раз то, что ему нужно: жена-машина, бессловесная, хорошо отлаженная машина, которая поджидает его дома и приходит в движение только по его приказанию.



А я из тех, кому нужно дело. Когда я не работаю, мой разум тоже перестает работать, все плывет у меня перед глазами. Нескончаемый летящий снег за окном заносит мои мысли, мой мозг пустеет и засыпает. Непрестанный грохот воды сплющивает меня и сводит с ума.

После этой размолвки Тодди старался проводить больше времени дома. Несколько раз он задерживался после обеда и рассказывал Молли, как шли дела на электростанции и какие несчастья он предотвратил в этот день. Но его глаза были постоянно устремлены за окно, где на снегу виднелось серое угрюмое здание.

— Ах, Тодди, спускайся вниз,— говорила обычно Молли.— По-моему, тебе не терпится увидеть свои машины.

А потом в один прекрасный день Молли нашла желанное дело.

Она подняла глаза от посуды и увидела Луи-Поля, одного из смазчиков электростанции, он стоял в дверях, и снег с его огромных валенок таял на полу.

— Мадам...— проговорил он.

— Ах, Луи, здравствуй! — сказала Молли с искренней радостью, этот худощавый белокурый юноша нравился ей больше всех рабочих Тодди.

Они с Луи-Полем вели длинные серьезные разговоры: Молли практиковалась во французском языке, а он в английском. «Нашего священника надо называть кюре,— наставлял ее Луи.— Он не любит, когда говорят по-английски».

— Ты пришел за списком покупок? — спросила Молли.— Собираешься в город?

— Нет, мадам, я имею... как это надо сказать? Я сегодня в больших волнениях. Моя Люсьена...

— Ах, ребенок... Луи-Поль, у тебя уже родился ребенок?

— Да, мадам.

В отчаянии всплеснув руками, Луи-Поль отказался от попытки говорить по-английски. Из стремительного потока сбивчивых французских фраз Молли поняла, что Люсьена почему-то не могла кормить ребенка, а в эту зиму ни на одном участке ни у одной коровы не было молока.

— Если бы вы приехали, мадам, вы могли бы узнать... могли бы что-нибудь сделать.

Упряжка желтых собак была привязана к заднему крыльцу. Вместе с Луи-Полем Молли понеслась по снегу к его дому на первом участке. К совсем крохотному дому, который отец Луи-Поля построил шесть лет назад, когда разделил между сыновьями свою неплодородную землю и лесные делянки.

Темно-серая деревянная крыша дома, безжалостно изъеденная непогодой, так круто поднималась вверх, что напоминала крышу китайской пагоды.

В кухне громко всхлипывала мать Люсьены, ее сестры и тетки, все одетые в черное; кто-то держал на руках плачущего ребенка. А в спальне обливалась слезами молоденькая Люсьена. Она знала, что родственники в черных платьях собрались у них в доме, потому что ее ребенка ждет смерть.

Молли взглянула на Люсьену: широкие скулы, смуглая кожа и узкие глаза говорили о примеси индейской крови.

— Люсьена, ты не будешь меня стесняться? — осторожно спросила Молли. — Ты согласишься снять при мне ночную рубашку?

— Конечно, мадам, конечно, я не буду вас стесняться, — сказала Люсьена.

Теплый комок подступил к горлу Молли, она спустила рубашку с плеч Люсьены и принесла из кухни ворох тряпок, горячую и холодную воду.

Молли осторожно погружала тяжелые груди Люсьены попеременно в холодную и горячую воду и объясняла ей, что у нее плоские соски и от таких ванночек они выпятятся.

А когда Молли уходила, Люсьена, беззвучно всхлипывая, прижимала к груди темноволосую головку младенца, причитания на кухне стихли, и Луи-Поль щедро разливал виски и домашнее вино, снова и снова пуская стакан по кругу.

Только подъехав к красному дому, вернее, только стряхнув на заднем крыльце снег с валенок, Молли вспомнила, что сильно опоздала к обеду — Тодди любил обедать рано. Она поспешно открыла дверь.

Тодди стоял посреди комнаты, его руки висели вдоль тела точно чужие. Он смотрел на Молли пустыми растерянными глазами.

— Ты уходила? — спросил он.

— Да,— ответила Молли, все еще радуясь своему успеху.— Луи-Поль возил меня к себе домой. Его жена родила, и младенец...

— Он попросил тебя? — спросил Тодди.

— Да,— кивнула Молли.— Он был в отчаянии, бедняга, я просто не могла не предложить свою помощь.

Тодди боится, что я оставлю его, подумала Молли. Он пришел домой, увидел холодную плиту и решил, что я больше не вернусь. Молли не знала, радоваться ей или огорчаться этой догадке. Тревога была естественным и обычным состоянием Тодди, но выражение его лица оставалось неестественным и необычным. Хотя Молли объяснила ему, что произошло, он по-прежнему не спускал с нее прищуренных глаз, полных страха и изумления.

— Прости, что так вышло с обедом,— сказала Молли,— я сейчас что-нибудь приготовлю на скорую руку. Ты покури, а я расскажу, как все это было.

Молли рассказывала, но Тодди не разделял ее радости.

— Подумаешь, еще один франко-канадский щенок родился,— сказал он.— Молли, ты просто сошла с ума.

Прошло несколько недель, и Молли поняла, что она нашла свое место даже на этой бесплодной земле. Луи-Поль вновь появился у нее на кухне, на этот раз он держался смелее, потому что Молли была его другом.

У невестки Луи-Поля начались роды, только все пошло как-то не так. Родные хотели отвезти ее в Миссавани, но, по всей видимости, вот-вот поднимется буря. Мадам была так добра к Люсьене. Может быть, мадам не откажется помочь Мари-Клэр?

— Не знаю, что я смогу сделать,— сказала Молли.— Мне приходилось облегчать путь в этот мир маленьким телятам и поросятам, но младенцу...

— Она может умереть,— упрасивал Луи.— Женщины

говорят, ребенок лежит очень плохо. Мари-Клэр напоили кровью новорожденного теленка, но...

— Хорошо,— сказала Молли,— поедем.

Она приготовила холодную еду для Тодди и оставила записку около его тарелки. Сани неслись по снегу к маленькому домику, а Молли терзали угрызения совести. Хотя она понимала, что для этого нет никаких оснований. Она отлучится всего на несколько часов. Тодди должен смириться с тем, что время от времени ее не бывает дома. Он ведет себя по отношению к ней несколько... Ну, скажем, эгоистично. Он должен смириться с ее отлучками.

С помощью древней бабушки Молли приняла роды на кухонном столе в маленьком домике. Когда-то в Англии, старый сельскохозяйственный рабочий из Корнуолла показал ей, как помочь корове, если теленок лежит неправильно. Молли знала, что для спасения Мари-Клэр нужно то же самое: ловкость, смелость, твердая рука и согласованность ее усилий с тяжелыми схватками у женщины на столе.

Несколько часов Молли совсем не думала о Тодди, она вспомнила о нем только поздно вечером, когда вернулась домой.

На этот раз Тодди был вне себя, он что-то бормотал и трясся от возмущения.

— Молли,— закричал он,— ты должна прекратить эти бессмысленные...

— Но мои отлучки вовсе не бессмысленны,— спокойно прервала его Молли, все еще радуясь чудесному появлению нового существа, свершившемуся с ее помощью.— Я подарила этому миру симпатичного маленького мальчика. Если бы не я, он, может быть, никогда бы не родился.

— Столько лет эти женщины рожали, как кошки, и прекрасно обходились без твоей помощи!

— Я знаю,— сказала Молли,— но иногда их младенцы погибали. И они такие... суеверные. Я могу помочь им, Тодди. Правда, могу.

Молли помолчала и спросила более мягко:

— В чем дело, Тодди? Почему ты не хочешь, чтобы я выходила из дому?

Вопрос Молли застал Тодди врасплох, его лицо разгладилось, на нем появилось другое выражение, будто Тодди внезапно понял бессмысленность своей ярости.

— Ты моя жена,— сказал он.— Я хочу, чтобы ты была здесь.

— Вот и прекрасно, радуйся,— продолжала Молли с напускной веселостью, потому что вид Тодди внушал ей страх.— Я здесь, обычно я здесь.

С тех пор, как только у кого-нибудь из женщин в окрестных поселках начинались роды, муж мчался на собаках к красному дому.

Слава Молли распространилась на много миль вокруг. Она приносила счастье роженицам, а если случалось что-то непредвиденное, ловко отводила беду. Ей нравились люди, живущие в этих местах, и она нравилась им. Даже кюре, который терпеть не мог электростанцию и все, что с ней связано, кланялся и вежливо здоровался с Молли, когда они встречались у кого-нибудь на кухне.

Молли выписала несколько брошюр и пять-шесть учебников. Хотя Тодди сказал правду и прежде местные женщины прекрасно рожали без ее помощи, Молли радовалась, что новорожденные умирали теперь реже.

Каждая ее поездка сопровождалась стычками с Тодди. Молли чувствовала, что у них в доме идет борьба между ее стремлением жить и работать и эгоизмом ее мужа, всего лишь эгоизмом, как она пыталась убедить себя. Окрыленная успехом, Молли считала своим долгом пробудить у Тодди интерес к чему-нибудь, кроме электростанции. И терпела одно поражение за другим.

Когда сойдет снег, все, конечно, наладится. Она уговорит Тодди взять в гараже старый автомобиль и объехать с ней окрестности. Он просто немного одичал из-за долгой зимы. И хотя вначале мысль, что Тодди способен одичать, глубоко потрясла ее, сейчас она все чаще и все настойчивее твердила себе, что дело только в этом.

Наконец однажды настала очередь Джо Бланшара приехать за Молли. Его жена ожидала десятого ребенка.

Весь день Молли беспокоилась, она то и дело подходила к окну и вглядывалась в слепящую снежную пустыню, надеясь увидеть, как могучие желтые собаки выносят из лесной чащи сани Джо. Солнце село, Молли поставила на стол обед, а Джо Бланшар все не появлялся.

В середине обеда Молли подняла глаза от тарелки и увидела, что Тодди пристально смотрит ей в лицо и губы его как-то странно подрагивают.

— Что случилось? — спросила Молли.

— Ничего, — ответил Тодди. — Ничего.

Но губы его по-прежнему дрожали.

— Тодди, — ласково начала Молли, особенно ласково, потому что ей было страшно. — Сегодня вечером мне, возможно, придется ненадолго уехать. Я обещала Джо Бланшару помочь Мариэтте.

Тодди взглянул на Молли, его лицо вспыхнуло.

— Нет, — выкрикнул он, — ни в коем случае, ты останешься здесь, твое место здесь!

— Почему? — спросила Молли, как спрашивала уже не раз. — Почему ты не хочешь, чтобы я выходила из дому?

Тодди, казалось, задумался, с трудом подбирая слова.

— Потому что я не могу отпустить тебя поздно вечером с этим головорезом... Потому, черт побери, что это слишком опасно.

— Поедем тогда с нами, — сказала Молли. — Поедем.

— Не говори глупостей, — снова вспыхнул Тодди. — Как я могу поехать с вами?

— Если ты не можешь поехать, останься сегодня вечером дома, — сказала Молли. — Останься дома, тебе надо отдохнуть. Когда приедет Джо, мы решим, что делать.

— Отдохнуть... о чем ты говоришь?

— По-моему, ты... устал, — продолжала Молли. — По-моему, тебе нужно хотя бы один вечер провести дома.

— Не говори глупостей, Молли. Совершенно ясно, что это невозможно. Невозможно.

Тодди дошел до двери и обернулся.

— Надеюсь застать тебя дома, когда я вернусь,— сказал он.

Весь вечер Молли терзалась от беспокойства: она не могла понять, почему не приезжает Джо, и настороженно прислушивалась, не раздаются ли шаги Тодди.

Приближалась ночь, но ни Тодди, ни Джо не появлялись. Никогда прежде Тодди не возвращался так поздно. Половина одиннадцатого, одиннадцать.

Задняя дверь хлопнула, Молли побежала в кухню. На пороге стоял Джо, его широкое лицо сияло.

— Вы готовы, мадам?

Молли торопливо надела тяжелую шубу, натянула валенки. Тревога не покидала ее. Был уже первый час ночи, а Тодди все еще не вернулся.

— Джо,— сказала она,— вы можете подождать минуту, пока я спущусь вниз и скажу два слова мужу?

Молли несколько раз поскользнулась на ледяных ступеньках, вырубленных на склоне холма по приказанию Тодди. Она спешила изо всех сил. Ей непременно нужно было увериться... Она только не могла понять в чем.

Молли открыла дверь электростанции и снова поразилась, с какой быстротой оглушительный грохот сменился приглушенным монотонным гудением.

Сначала она не заметила Тодди. Луи-Поль дремал, сидя в кресле с прямой спинкой в другом конце зала. Потом она разглядела Тодди, он стоял, прислонившись спиной к одной из турбин. Молли не спускала с него глаз, вдруг Тодди, точно ужаленный, бросился к одному из приборов на стене. Тогда Молли увидела сбоку его лицо — ничто вокруг не существовало для Тодди, кроме этого прибора, он пожирал его глазами.

— Тодди! — крикнула Молли.

Он оглянулся, прошло несколько томительных секунд, и Молли поняла, что Тодди не узнает ее. Он не произнес ни слова.

— Я не хотела, чтобы ты беспокоился,— начала Молли.—

За мной приехал Джо. Если я не вернусь к завтраку...

Молли остановилась, потому что Тодди ее не слышал.

— Наверное, я все-таки вернусь к завтраку,— продолжала она.

Тодди впился в нее глазами. Он шевелил губами, будто произносил какие-то слова. Потом его взгляд оторвался от Молли и вновь устремился к светящемуся прибору на стене.

И тогда Молли поняла. Борьба, которую она вела с безмянным противником, происходила между ней и электростанцией. Тодди, наверное, смутно догадывался об этом, поэтому он сказал тогда: «Я хочу, чтобы ты была здесь».

— Тодди! — крикнула Молли.

Он как-то неестественно, будто заводная кукла, повернулся к ней спиной, но Молли успела разглядеть пустое, бессмысленное лицо, освещенное странным светом, излучавшимся из его глаз. Тодди не ответил.

На мгновение Молли забыла, что они не одни, но тут же услышала, что Луи-Поль проснулся и встал около двери. Увидав дрожащее, перекошенное от ужаса лицо Тодди, Молли поняла, чего она боялась все это время, не позволяя себе произнести запретное слово.

— Ах, Луи,— проговорила она.

— Пойдемте, мадам,— сказал Луи.— Мы ничего не можем сделать. Утром я отвезу вас в Миссавани и привезу сюда доктора.

— С ним ничего не случится? — спросила Молли.— Он не... вдруг он испортит машины?

— Ну что вы! Он никогда не сделает ничего дурного электростанции. Сколько лет я смотрел, как он влюблялся в нее все сильнее и сильнее. Теперь она не отдаст его никому.



# Питер Беренс

## В Монреале

Это была первая вьюга за зиму, уже давно стемнело, а он еще только подходил к дому. Ноги промокли и замерзли, пока он шел по длинным улицам из центра города к себе в Сент-Генри, сражаясь с ветром за каждый шаг; покрасневшее лицо больше не чувствовало холода, борода покрылась инеем и кое-где обледенела.

На улицах Сент-Генри — белых, безлюдных, с высокими сугробами свежего снега на проезжей части — царила тишина.

Там, в центре, с зимой боролись: на обледенелой мостовой скрипели колеса, огромные грузовики с грохотом ползли по улицам меж стройных арок крупного песка, с громким шуршанием ложившегося на снег. Сквозь ватную завесу белых хлопьев доносились сигналы автомобилей, натужный стук моторов и пронзительный вой сирен полицейских машин.

А здесь, в Сент-Генри, снег падал и падал, и никто не обращал на него внимания. Автомобилей на улицах не было, только ветер и тусклый желтый свет, проникавший во тьму из заиндеветых окон квартир на первом этаже.

На углу своей небольшой улицы он зашел в лавку Тибо купить пачку сигарет. Зеркальная витрина, загроможденная выцветшими рекламами сигарет и пыльными дешевыми безделушками, уже начала запотевать, но он видел, как Тибо достает из ведра опилки и рассыпает по полу.

После однообразной пустоты белых улиц магазинчик Тибо

с мешаниной рекламных объявлений, картонных коробок с сигаретами, журналов и книг в мягких обложках, теснивших-ся на стеллажах, казался уголком непроходимых джунглей.

Услышав позвякивание колокольчика над входной дверью, Тибо опустил ведро на пол и встал за прилавок. Мужчины были примерно одного возраста: лет двадцати семи—двадцати девяти. Тибо получил магазин от отца.

Он порылся в кармане, с трудом достал деньги и вручил Тибо; забирая сигареты и смахивая со стеклянного прилавка сдачу — несколько влажных монеток,— он спрашивает, не заглядывала ли сюда его жена Нора.

— Нет,— говорит Тибо.

Сегодня Тибо ее не видел.

Он сунул пачку сигарет в карман и пошел к двери.

— Случилось что-нибудь? — беспокоится Тибо.

Вопрос застает его врасплох. Он поворачивает голову и смотрит на Тибо.

— Нет,— говорит он.— Ничего не случилось. В такую погоду нелегко выйти из дома.

Тибо кивает, а тот открывает дверь, и на него вновь набрасывается снежный вихрь.

Теперь ветер дует прямо в лицо. Спасаясь от жалящих снежинок, он еще глубже прячет подбородок в воротник пальто.

Их улица ничем не отличается от сотни других, разбросанных в этом небогатом районе Монреаля. Бурлящих летом. Раскаленных, кишаших детьми, с мостовыми, пахнущими варом. Дети бегают, кричат, визжат, босые дети задворков с расцарапанными коленками, с грязными лицами, невымытыми все лето.

Их квартира расположена на втором этаже, у них отдельный вход. Они попадают к себе по крутому завитку наружной железной лестницы, поднимающейся во всей своей кованой красе прямо с тротуара.

Сегодня вечером обледеневшие ступеньки занесены глубоким снегом, улица, где обычно полно людей, пуста. Он держится за железные перила и медленно, осторожно пе-

реставляет ноги, останавливаясь на каждой ступеньке. Добравшись до маленького балкончика перед их дверью, он останавливается и шарит в кармане в поисках ключа. Его красные пальцы, шершавые, как наждачная бумага, ноют от холода. Скользкий ключ трудно удержать в руке, наконец ему удастся его схватить, но еще целую минуту он не может вставить ключ в замочную скважину, и к тому времени, когда дверь наконец открывается, руки у него так замерзают, что он уже не чувствует боли.

Он родился на Западе и, приехав в Монреаль, часто менял квартиры. Год он жил в современном высотном доме почти в центре города. Потом на верхнем этаже двухквартирного дома в одном из западных пригородов.

В Сент-Генри они перебрались ради экономии: квартиры здесь очень дешевые, а они собирались провести его первый свободный от преподавания год в Европе, где им, конечно, понадобятся лишние деньги. Когда они впервые сюда приехали, шумные улицы Сент-Генри приятно удивили их своей непохожестью на безлюдную Хэмптон-авеню в лесистом пригороде, и он не сомневался, что здесь они будут счастливы.

Он закрыл дверь и положил портфель на белый столик рядом с вешалкой. Квартира была пуста, он ощутил эту пустоту, как только закрыл дверь. В прихожей было темно, из кухни доносилось тиканье часов. И в ту же минуту его пронзил страх, знакомый страх, одолевший холод и скрутивший желудок. Он позвал жену, но ее имя, издаваясь над ним, повисло в пустой прихожей. Скучный свет зимнего вечера сочился сквозь застекленную дверь позади него, почти не нарушая мрака. Его лицо стало влажным, льдинки в бороде подтаяли, и капли воды заблестели на деревянном полу. Он страшно устал, ему очень не хотелось снова бороться с вьюгой.

Он женился на Норе, когда она еще рисовала. У нее уже была выставка: бледные акварели и этюды на рисовой бума-

ге целую неделю висели в небольшой художественной галерее около университета и хорошо продавались. Те, кто в этом разбирался, твердили, что она подает надежды. Конечно, ее талант нуждается в совершенствовании, в шлифовке, но талант безусловно есть — ей прочили блестящее будущее, он поверил в ее будущее, и они поженились.

А два года назад, через год после свадьбы, она бросила рисовать. Он помнил, как она собрала краски, кисти, обрывки грубого холста, кусочки металла, скопившегося за годы, когда она увлекалась коллекционированием, сложила все свои сокровища в большие картонные коробки и задвинула в угол в подвале их дома, где они стоят до сих пор. Она не произнесла ни слова и только смеялась, когда он просил ее объяснить, что происходит.

Сначала он думал, что она беременна и не хочет работать, пока не родится ребенок. Они не собирались в ближайшее время заводить детей, но ему было приятно, что в Норе так сильны материнские чувства. И все-таки он убеждал ее снова начать рисовать. Она так мало читает, ей будет скучно сидеть целый день одной в квартире без всякого дела. У нее нет друзей в Сент-Генри.

Но Нора не поддавалась ни на какие уговоры. Она покончила с работой. Покончила — так она и сказала. Она не беременна. И она больше не хочет об этом разговаривать.

Они мечтали провести год в Европе задолго до женитьбы, Нора радовалась этому не меньше, чем он. Но во вторую зиму она проявляла все меньше и меньше интереса к этой поездке и даже говорила о ней неохотно, только если он сам заводил разговор.

Он всегда знал, что она впечатлительна. Она казалась ему хрупкой и утонченной еще до того, как они познакомились. Он следил за ней много месяцев, изредка встречая где-нибудь около университета; она бродила всегда в одиночестве с каким-то странным свертком под мышкой, и где бы она ни проходила — по блестящему паркету холла или по зеленой лужайке,— ее ноги едва касались земли, будто она боялась ее поранить.

В конце концов он решил отложить поездку. Он даже смирился с мыслью, что нужно найти врача, может быть, терапевта или какого-нибудь другого специалиста, который помог бы ей выбраться из темницы, куда она сама себя заточила. В университете было сколько угодно знающих людей, кто-то из коллег назвал ему одно-два имени, но он никак не мог заставить себя снять телефонную трубку.

Отказ от свободного года помог ему продвинуться: к его педагогической нагрузке прибавились административные обязанности. Ему увеличили жалованье, и хотя он никогда не считал себя ни администратором, ни, честно говоря, преподавателем, и та и другая работа доставляла ему удовольствие.

Он больше не заговаривал о поездке в Европу, вместо этого позапрошлым летом, вторым в их совместной жизни, он провел шесть недель в пыльном лагере на Крите, где отрыли несколько хорошо сохранившихся позднеминойских табличек с линейным письмом Б\*. Написанную им статью быстро опубликовали, а высказанное им мнение быстро признали окончательным. Следующим летом он вновь поехал на Крит, и теперь уже шли разговоры о книге.

Он понимал, что с Норой происходит что-то неладное, но болезнь подкрадывалась так незаметно, что им обоим с удивительной легкостью удавалось не придавать ей значения. С каждым месяцем она все больше и больше уходила в себя; он начал сам делать покупки, готовить пищу, убирать квартиру. Они могли бы переехать из Сент-Генри, но прежде ему было здесь по-своему хорошо, и он помнил об этом, к тому же в других районах квартирная плата за последнее время непомерно возросла.

Утром, прощаясь с ним, она целовала его в щеку, а вечером, когда он возвращался, она обычно сидела на деревянном стуле в их почти пустой гостиной, на коленях у нее лежала книга, а ее взгляд блуждал в море монреальских крыш, оста-

\* Линейное письмо Б — древнейшая письменность острова Крит; минойская культура — высокоразвитая культура бронзового века на том же острове.

навливался на домах-башнях в центре города или скользил по горе, маячившей на горизонте.

В хорошую погоду от их дома до приходской церкви на улице Сент-Филипп всего минут пять ходу; но сейчас снег идет еще сильнее; засунув руки поглубже в карманы, он с трудом одолевает сугробы.

Когда он был моложе, ему нравились такие вечера, мальчишкой он не одолевал сугробы, а скатывался с них, как любитель серфинга, уверенно скользящий по необузданным волнам Тихого океана в полном согласии с морской стихией. Чем яростнее завывал ветер, тем больше он радовался, неистовый хоровод снежинок приводил его в восторг, он смеялся над высокомерием тех, кто стремился побороть, обуздать вьюгу.

Но теперь он чувствует, что слишком стар, он уже не в состоянии радоваться вьюге, теперь ему приходится с ней бороться.

Спасаясь от ветра, он наклоняется вперед и внезапно понимает, как сильно переменилась его жизнь, ему вдруг становится нестерпимо одиноко, грустно и больно за того мальчика, который темным вечером здесь, в Сент-Генри, кажется таким бесконечно далеким — безвозвратно ушедшим из этой жизни.

Ветер не оставил ни снежинки на широких каменных ступенях. Двери в приходской церкви огромные, тяжелые дубовые створки всегда трудно открыть, а сейчас, при ветре, церковь будто замурована. У него даже мелькает мысль: может быть, Нора каким-то образом заперла ее изнутри, но одна из створок в конце концов поддается, и он с трудом протискивается в узкую щель. Дверь тяжело ухает позади него, гулкое эхо разрывает священную тишину.

Внутри темно: бледный свет падает только из светового люка в высокой сводчатой крыше, тускло мигает красная лампочка на алтаре, и едва светятся несколько желтых

огоньков на подставке для свечей — набожные старушки опускают в щель десятицентовые монеты и ставят свечи в память об умерших мужьях и сыновьях или потому, что хотят принести скромный дар в надежде, что католический бог примет во внимание это благочестивое даяние, когда будет судить их после смерти.

Как во всех старых церквях, где из года в год служат торжественные мессы и поют псалмы, легкая дымка ладана, кажется, пропитала самые камни этого огромного здания и навсегда повисла во влажном воздухе.

Тут же у двери он погружает пальцы в небольшую чашу со святой водой и крестится. Его колени сами собой сгибаются, но он спохватывается, не успев опуститься на пол, и с изумлением отмечает, что в нем еще сохранились остатки благочестия.

Пол скользкий, он медленно идет по главному проходу со всей осторожностью, на какую только способен, но в этой церкви-склепе каждый шаг вызывает громоподобное эхо. Он идет и вдыхает запах одряхлевшего, истертого дерева — запах давно ушедших лет, исходящий от церковных скамей. Не останавливаясь, он прикасается к спинке одной из них, дерево на ощупь гладкое и отполированное, засаленное благочестивым дыханием неисчислимой вереницы коленопреклоненных верующих, уже отбывших из этого мира. Впереди смутно виднеется алтарь с одним-единственным, ничем не украшенным деревянным крестом.

В церкви ни души, только Нора стоит на коленях в первом ряду скамеек, он подходит к ней сзади и видит, что голова ее опущена, а руки стискивают ниточку деревянных четок.

Он становится рядом с ней, Нора поднимает голову и смотрит на него, она знает, что он пришел отвести ее домой, она кивает ему — покорно, — потом отворачивается, подносит четки к губам и целует их.

Он выходит из-за скамейки, она медленно встает и идет за ним.

Он возвращается назад по тому же проходу и слышит за собой ее шаги. У двери, пока он силится приоткрыть створ-

ку, она опускает пальцы в небольшую чашу, а он притворяется, что ничего не видит, и продолжает бороться с дверью. Она крестится, и они выходят в снежную тьму.

Поздно вечером он вымыл посуду и тщательно расставил все по местам. За обедом она не произнесла ни слова. Один-два раза он протягивал руку и касался ее пальцев и смотрел, как она сжимает его руку в своей. Она делала это инстинктивно, не задумываясь, как младенец, который тянет ручку из колыбели и крепко хватает протянутый ему палец.

В тот вечер, лежа в постели, он снова слышит тиканье часов в кухне. На следующий день ему предстоит сделать доклад, и он слегка встревожен. Приходится быть осмотрительным. Научное имя в его области создается ценой тщательно продуманных усилий.

Он протягивает руку и гасит свет. Черные ласковые ночи юности канули в вечность, теперь каждый вечер он ложится в эту кровать рядом с ней и знает, что от их надежд ничего не осталось, что они растрчены, или обернулись горечью, или просто износились от времени — от течения времени.

Но вот она поворачивается к нему, как всегда неслышно, ложится на спину и устремляет взгляд в потолок, у нее теплое тело, ее немигающие глаза ничего не видят, и она говорит ему, что эта жизнь — грех.

И как ни странно, он почти готов ей поверить, он так устал, а мысли, теснящиеся у нее в голове, так же печальны и бесприютны, как улицы за окном.

Он оборачивается и смотрит на нее, он видит на подушке профиль молодой красивой женщины с тонкими чертами лица, голубые задумчивые глаза прикованы к узорам облупившейся штукатурки на потолке, будто в них скрыта какая-то полная значения мысль, и на мгновение он прозревает: он знает, какая тайная мука, какая ложь сломили ее.



# Элистер Маклеод

## Катер

Даже сейчас я иногда просыпаюсь в четыре утра, содрогаюсь от страха, что проспал; мне кажется, будто отец ждет внизу, в своей комнате у потемневшей лестницы, а мужчины, торопясь на берег, бросают гальку в мое окно, дуют на руки и нетерпеливо притоптывают на промерзшей, как камень, земле. Иногда я даже спускаю ноги с кровати, шарю в поисках носков и бормочу жалкие слова, прежде чем понимаю, что я один, совсем один: никто не ждет меня внизу у лестницы и беспокойный катер не прыгает на волнах у пирса.

В такие ночи только серые трупы в переполненной пепельнице рядом с кроватью составляют мне компанию, они подсматривают за мной, пока не потемнеет последняя красная точка, и молча ждут очередной насильственной смерти своего товарища. Мне страшно оставаться наедине со смертью, я поспешно одеваюсь, громко на все лады прочищаю горло, открываю оба крана в раковине и бестолково расплескиваю воду, стараясь производить побольше шума. В конце концов я выхожу на улицу и иду пешком до ночного ресторана в миле от дома.

Зимой бывает нестерпимо холодно, и когда я до него добираюсь, у меня в глазах часто стоят слезы. Официантка обычно сочувственно ежится и говорит:

— На улице, видно, очень холодно, приятель, у тебя глаза слезятся.

— Да,— отвечаю я,— очень, правда очень холодно.

Я вяло перекидываюсь словами с двумя-тремя мужчинами,

© Alistair MacLeod, 1978.

всегда сидящими в таких ресторанах в такое время, мы поддерживаем неинтересный разговор, только чтобы не молчать, и ждем, когда наступит неторопливый рассвет. Тогда я проглатываю кофе, всегда горький, и стремительно ухожу, потому что на рассвете я уже полон забот: я боюсь опоздать, я не уверен, что у меня есть чистая рубашка, что сумею завести машину, я беспокоюсь о тысяче мелочей, тревожащих каждого, кто преподает в большом университете на Среднем Западе. Но я уже знаю, что сумею прожить этот день, как прожил все другие дни за последние десять лет, потому что во мраке раннего утра не звучат больше стук гальки в окно и голоса мужчин, я не вижу больше их силуэты и силуэт катера, а знакомые предметы вокруг меня смягчают боль и подтверждают, что мираж исчез. Остаются только тени и отзвуки: звери, которых изображают на стене, руки ребенка при свете лампы, гул бочонка для дождевой воды — обрывки из старого черно-белого фильма о давно минувшем.

Катер вошел в мою жизнь почти одновременно с людьми, которых он кормил, и почти так же, как они. Мои самые ранние воспоминания об отце — вид с пола на огромные резиновые сапоги, потом меня вдруг поднимают, и мое лицо прижимается к соленой колючей щеке отца, и весь он от красных подошв резиновых сапог до косматой шапки белых волос тоже пахнет солью.

Я был совсем маленьким, когда отец впервые взял меня на катер. Полмили от дома до причала я проехал у него на плечах; я помню звук его тяжелых, торжественных шагов по прибрежной гальке, мотив его любимой непристойной песенки и запах соли.

Пол катера был пропитан тем же запахом, и я не заметил, что плыву. Мы сделали небольшой круг по гавани и вернулись. Отец привязал катер за фалинь, отдал кормовой якорь, поднял меня высоко над головой и опустил на каменную громаду причала. Потом по короткой железной лестнице вскарабкался наверх, посадил меня на плечи и так же торжественно зашагал домой.

Когда мы вернулись, поднялась невообразимая суматоха, взбудораженные моей преждевременной морской прогулкой сестры и мать наперебой спрашивали:

- Тебе понравился катер?
- Ты не испугался катера?
- Ты не плакал на катере?

Они повторяли слово «катер» в конце каждого вопроса, и я понял, что для них это что-то очень важное.

Мои самые ранние воспоминания о матери — утра, когда я оставался с ней вдвоем, а отец был где-то далеко на катере. Мать постоянно чинила одежду, «порванную на катере», готовила еду, «чтобы поесть на катере», или «ждала катер», стоя у кухонного окна, выходившего на море. Отец возвращался около полудня, и мать обычно спрашивала:

- Ну, как дела сегодня на катере?

Это был первый вопрос, который я научился задавать: «Ну, как дела сегодня на катере?», «Ну, как дела сегодня на катере?»

На нашей памяти катер был приписан к порту Хоксбери. Это был один из кейп-айлендских катеров, как их называют в Новой Шотландии, рассчитанных на плавание в прибрежных водах с двумя-тремя рыбаками на борту; весной на таких катерах ловили омаров, летом макрель, а ранней осенью треску, пикшу и хека. Катер был длиной в тридцать два фута, шириной в девять футов и приводился в движение мотором грузовика «шевроле» с муфтой сцепления от морского двигателя и высокоскоростной передачей заднего хода. Отец выкрасил катер светло-зеленой краской и на носу по трафарету вывел черными буквами его название «Дженни Линн», те же два слова, написанные от руки, красовались на продолговатой дощечке, прибитой к корме. Дженни Линн — девичье имя моей матери, отец называл катер в ее честь, подтвердив еще раз живучесть местных обычаев. Почти все катера на нашем причале носили имена женщин из семьи своего владельца.

Я говорю сейчас так, будто я знал это уже тогда. Будто уже тогда я разбирался в моторах, в размерах катера и в то

первое детское путешествие заметил разницу между надписью, сделанной по трафарету, и надписью от руки. На самом деле все было иначе: я знакомился с катером очень медленно и не успел познакомиться до конца.

Сначала я изучил наш дом, один из пятидесяти других, построенных вдоль берега, подковой огибавшего нашу гавань и ее сердце — причал. Некоторые дома стояли так близко к воде, что во время шторма соленые брызги долетали до окон, другие, как наш, отступали подальше. Дома и их обитатели, так же как жители соседних городков и деревень, появились здесь в результате недовольства ирландцев, обезземеливания мелких арендаторов в северной Шотландии и Войны за независимость в Америке. Так встретились в этих краях вспыльчивые, горячие ирландцы-католики, не пожелавшие считать себя подданными Англии, и трезвые, решительные пуритане-протестанты, не пожелавшие отказаться от английского подданства после 1776 года, когда в Америке была принята Декларация независимости.

Главной комнатой в нашем доме была продолговатая старомодная кухня с плитой, топившейся дровами и углем. Позади плиты стоял ящик с растопкой, рядом — ведро с углем. Посередине кухни громоздился тяжелый деревянный стол с откидными досками, увеличивавшими или уменьшавшими его размеры, когда было нужно. Стол окружали пять самодельных стульев, покрытых многочисленными ножевыми ранами. У восточной стены напротив плиты стояла кушетка с большой вмятиной посередине и диванным валиком вместо подушки, над кушеткой была полка, где лежали спички, табак, карандаши, запасные рыболовные крючки, куски веревки и стояла жестяная коробка со счетами и квитанциями. Почти всю южную стену занимало окно, выходившее на море, а к северной стене была приколочена пятифутовая доска с рядами крючков, всегда нагруженных одеждой. Под доской высилась куча запасной обуви, в основном резиновой. На этой же стене висели барометр, морская карта и полка с маленьким радиоприемником. Кухня была нашей общей территорией и служила пограничной зоной

между десятью другими комнатами, где царил образцовый порядок, и единственной комнатой отца, где господствовал хаос.

Мать заботилась о своем доме так же тщательно, как ее братья заботились о своих катерах. У нее все блестело и сияло и каждая вещь лежала на своем месте. Мать была высокая, темноволосая и, казалось, не знала, что такое усталость. Под старость она напоминала мне женщин Томаса Харди, внешне больше всего Юстасию Вэй\*. Она кормила и одевала семью из девяти человек: сама готовила всю еду и сама шила почти всю одежду. У нее был удивительный огород и великолепные цветы, она разводила кур и уток. Ей ничего не стоило пройти несколько миль, когда она ходила за ягодами, а во время отлива она подворачивала юбку и собирала съедобные ракушки. Десять лет она считалась первой красавицей в округе; когда она вышла замуж за моего отца, ей исполнилось двадцать шесть, ему было на четырнадцать лет больше. Море составляло основу основ ее жизни и жизни всех ее родных, и горизонтом матери действительно была та линия на краю моря, дальше которой не проникал взгляд ее бесстрашных темных глаз.

Дверь между вешалкой и барометром вела из кухни в комнату отца. Здесь безраздельно властвовали беспорядок и случайность. Будто ветер, что так часто завывал и бился в стены дома, проник в эту единственную комнату, сорвал все со своего места и умчался, чтобы теперь уже по праву обрушивать на дом оглушительные раскаты зловещего смеха.

Кровать отца стояла у южной стены. Она всегда была не прибрана и смята, потому что он чаще лежал на одеяле, чем спал под ним. Рядом с кроватью стоял маленький коричнеый столик. На нем теснились старинная лампа для чтения с длинной гусиной шеей, выдавший виды ящик радиоприемника, горка спичек, две-три пачки табака, стопка папиросной бумаги и переполненная пепельница. Коричневая табачная крошка вперемешку с серым пеплом покрывала

\* Героиня романа английского писателя Томаса Харди «Возвращение на родину» (1878).

столик и пол под ним. Когда-то полированная столешница была обезображена многочисленными черными рубцами и шрамами от непогашенных папирос. Они вечно вываливались из переполненной пепельницы и беспрепятственно выжигали на дереве очередное клеймо, пока запах гари не навлекал на них заслуженную кару. В ногах кровати было единственное в комнате окно, выходившее на море.

У соседней стены стоял письменный стол, тоже выдавший виды, а рядом был стенной шкаф, где хранились один костюм, плохо сидевший на отце, две-три белые рубашки, не дававшие ему дышать, и широконосые черные башмаки, жавшие ноги. Снимая с себя более дружелюбную одежду: толстые шерстяные свитера, рукавицы, связанные матерью, носки, шерстяные или бумазейные рубашки, — отец без церемоний сваливал ее на единственный стул. Если кто-нибудь входил в комнату, когда отец лежал на кровати, он просил сбросить одежду на пол и занять освободившееся место.

Журналы и книги загромождали письменный стол и борлись за место на стуле. Они перегружали героический маленький столик и взбирались на радиоприемник. Книги заполняли таинственную пещеру под кроватью, падали в угол около письменного стола и башней поднимались с пола.

Набор журналов был самый обычный: «Тайм», «Ньюсуик», «Лайф», «Маклинз», «Фэмили гералд», «Ридерс дайджест». Отец приобретал подписки по сниженным ценам или подарочные рождественские подписки «на два года всего за три с половиной доллара».

Книги отличались бóльшим разнообразием. У отца было несколько роскошных томиков в переплетах из тех, что в свое время считались лучшими книгами месяца; некоторые из них он получил в подарок на рождество, другие ко дню рождения. Но основную часть отцовской библиотеки составляли подержанные книжки в мягких обложках, присланные из букинистических магазинов, помещающих объявления на последних страницах журналов: «Подержанные книги в мягких обложках на любой вкус, десять центов каждая». Сначала

ла отец выписывал их сам, хотя мать не одобряла этот расход, но в последние годы книги все чаще и чаще посылали сестры, разъехавшиеся по разным городам. В первое время выбор отца отличался особенной причудливостью и широтой. Мики Спиллейн и Эрнест Хейкокс соперничали с Достоевским и Фолкнером; сборник стихов Джерарда Мэнли Хопкинса в издании «Пингвин» прибыл вместе с кратким руководством по половой жизни под названием «Возьмем от любви все, что она может дать». Первая из этих книг была тщательно прокомментирована неким каллиграфом, владевшим вечной ручкой с ярко-синими чернилами, а вторую изучал кто-то с очень толстыми пальцами, оставившими многочисленные отпечатки. При малейшем прикосновении книга сама открывалась на особенно живописных и густо засаленных страницах.

Если отец не рыбачил, он обычно лежал на кровати в носках, расстегнув пояс брюк, верхнюю рубашку он бросал на безответный стул, рукава нижней шерстяной рубашки, служившей ему и зимой, и летом, закатывал до локтей. Подушки подпирали белую шапку волос, а лампа с гусиной шеей освещала страницы зажатой в руке книги. Выкуренные и тлеющие папиросы валялись в пепельнице и на столе, радиоприемник работал непрерывно то громче, то тише. В полночь, в час ночи, в два, в три и в четыре из комнаты отца раздавались иногда звуки радио, слышалось покашливание, глухой удар, когда дочитанная книга присоединялась к своим товаркам в куче у стены, или громкий скрип, когда отец садился на край кровати, чтобы скрутить тысячную папиросу. Он, казалось, никогда не спал, только дремал, и свет из его окна почти заменял маяк.

Мать презирала эту комнату и все, чему она служила; после моего рождения она перестала здесь спать. Мать презирала беспорядок — в комнате, в доме, в режиме дня, в жизни — и после окончания средней школы не взяла в руки ни одной книги. В школе она прочла «Айвенго» и считала, что потратила зря массу времени. Но комната продолжала жить, она стояла как скала несогласия в сверкающих водах

прозрачной глубокой гавани и вплотную примыкала к кухне, где протекала жизнь всех остальных членов семьи; дверь этой комнаты всегда оставалась открытой, и сама комната — доступной для всеобщего обозрения.

Дочери этой комнаты и этого дома отличались яркой красотой. Они были высокие и тонкие, как мать, с такими же прекрасными чертами лица, оттененными рыжевато-медными волосами — волосами отца до того, как он поседел. Все они хорошо учились в школе и усердно помогали матери дома. В детстве они часто пели и смеялись и относились ко мне с нежностью, потому что я был самым младшим в семье и единственным мальчиком.

Отец не любил, когда они играли на причале, как другие дети, и сестры появлялись там, только если мать посылала их с каким-нибудь поручением. Но тогда они почти всегда задерживались и с визгом играли в салки или в прятки между рыбацкими складами и сваленными в кучу ловушками и бочонками, снятыми с тралов; они громко кричали, когда видели окуня, лениво оплывавшего лохматые от водорослей сваи, или прыгали с причала на катера, слегка покачивавшиеся на канатах. Мать несколько не смущало отсутствие девочек, и если отец порицал ее за это, она говорила: «Ничего с ними на причале не случится» или: «Они могли бы развлекаться чем-нибудь похуже и в худшем месте».

К девятому или десятому классу сестры одна за другой открывали для себя существование отцовской комнаты, и тогда все менялось. Каждая из них однажды утром входила в комнату, когда отца не было дома. Входила с прекрасным намерением навести порядок или с более практичной целью вытряхнуть пепельницу, а через некоторое время ее находили с книгой в руке, и, казалось, ничто вокруг для нее больше не существовало. Мать в таких случаях шумно высказывала свое неодобрение, с трудом сдерживая гнев.

— Нечего таращить глаза на эту ерунду, пойдй лучше займись делом,— говорила она, и однажды я видел, как мать ударила мою младшую сестру так сильно, что пять материнских пальцев отчетливо запылали на щеке дочери, а осиро-



тевшая книжка с оторванной обложкой полетела на пол, теряя страницы.

Открытие, что дочери читают книги, означало для матери начало отчаянной борьбы с чем-то недоступным ее пониманию. Она не отличалась чрезмерной религиозностью, но иногда, стараясь подкрепить свои доводы, ссылалась все-таки на авторитет бога и говорила:

— В другом мире бог спросит с тех, кто тратит свою жизнь на чтение бесполезных книг, вместо того чтобы делать свое дело.

Или, отбросив религию, восклицала:

— Хотела бы я знать, как эти книги могут помочь кому-нибудь прожить жизнь!

Если отец был дома, она негодовала особенно громко, и ее голос проникал в комнату, где он лежал на кровати. В ответ отец обычно поворачивал ручку радиоприемника, но усиление звука невольно подтверждало, что удар попал в цель.

Начав читать, сестры теряли душевное спокойствие, они больше не хотели штопать носки, печь хлеб и предпочитали работать официантками в летнем американском ресторане «Дары моря». Ресторан принадлежал одной бостонской фирме и обслуживал туристов, наводнявших побережье в июле и в августе. Мать глубоко презирала это заведение. Она говорила, что ресторан устроили «не наши люди», что «наши люди» там не едят и все это затея чужаков для чужаков.

— Кто они такие, эти туристы? — спрашивала мать, отбрасывая со лба темные волосы. — Пусть они хоть сто лет ходят здесь со своими фотоаппаратами, как они могут понять нашу жизнь, какое им дело до меня и до моих родных, какое мне дело до них?

Она не понимала, как можно даже подумать о работе в таком месте, и сердилась на дочерей, но еще больше сердилась на отца за то, что он им не препятствует; она тревожилась за себя, за семью, за свою жизнь. Иногда она с недоумением говорила своим сестрам:

— Не знаю, что с моими девочками. Ни у одной нет интереса к чему-нибудь стоящему.

А иногда между отцом и матерью разгорались бурные, ожесточенные споры. Однажды я пришел домой с тремя подаренными на причале макрелями и услышал, как мать сказала:

— Ты своего добьешься, вернутся они домой брюхатые одна за другой, тебе на радость.

Никогда прежде я не слышал, чтобы мать говорила с таким ожесточением. Не сами слова меня поразили, а интонация, и я простоял на пороге, мне показалось, все свое отрочество от десяти до пятнадцати лет, простоял, боясь вздохнуть и чувствуя, что влажные, скользкие макрели с тусклыми серебристыми глазами начинают липнуть к моей ноге.

Сквозь зарешеченную дверь я видел, как отец, не снимая резиновых сапог, пошел было в свою комнату, потом круто повернулся на одной ноге и взглянул на мать, под белоснежной шапкой волос его голубые глаза сверкнули будто прозрачный лед. Обычно красноватое лицо отца посерело и исказилось, выдавая изнеможение шестидесятипятилетнего мужчины, проработавшего в резиновых сапогах одиннадцать часов в августовский день, и на какой-то миг я растерялся — я не знал, что делать, если он убьет мать, пока я стою здесь, на пороге, с тремя дурацкими макрелями в руках. Но отец отвернулся и вошел к себе, он включил приемник на полную мощность, и оглушительная передача сводки погоды на следующий день прикрыла мое бегство: я ушел и вернулся снова, топая ногами, и нарочно громко хлопнул дверью, чтобы предупредить о своем появлении. Когда я вошел, мать возилась у плиты, я бросил рыбу в кастрюлю, но она не повернула головы. Я заглянул к отцу и спросил:

— Ну, как дела сегодня на катере?

— Неплохо по нашим временам.

Отец лежал на спине и закуривал первую папиросу, по радио рассказывали о побережье Виргинии.

Сестры хорошо зарабатывали на чаевых. Они купили отцу электрическую бритву — одно время он пытался ею пользоваться — и дарили ему все больше подписок на журналы. Они без конца покупали матери одежду ее любимого фасона, шляпы с широкими полями и парчовые платья, но мать запирала все в чемоданы и не желала к ним прикасаться.

Однажды в августе сестры уговорили отца покатать на катере своих знакомых из ресторана. Увешанные фотоаппаратами, в дорогой одежде, в солнцезащитных очках, туристы поворачивались спиной к ступенькам железной лестницы и неловко сходили с причала на катер; отец, стоя внизу, одной рукой притягивал качающуюся «Дженни Линн» вплотную к причалу, а другой помогал им спускаться. Молодые люди держались напряженно и в то же время по-свойски, как девицы на рекламных плакатах пепси-колы, они мужественно рассаживались на банках, где были расстелены газеты, чтобы скрыть следы крови и остатки рыбьих кишков, толпились на одном борту, грозя перевернуть катер, ежеминутно щелкали затворами фотоаппаратов или просто погружали руки в воду, давно волновавшую их воображение.

Отец им очень понравился, и когда, сделав несколько кругов по гавани, он привез их назад, новые знакомые пригласили его к себе — в арендованные коттеджи, стоявшие высоко на холме и взиравшие сверху вниз на глубоко чуждую им деревню. Там наверху, вдохновленный прекрасным видом, незнакомой компанией и обилием спиртного, отец к вечеру сильно напился и начал петь.

Мать послала меня за отцом, и я как раз подходил к причалу, когда услышал знакомый и все-таки незнакомый голос, доносившийся сверху, оттуда, где стояли коттеджи, и от звуков этого голоса у меня появилось какое-то странное ощущение, не возникавшее ни разу за всю мою короткую жизнь или, вернее, безотчетно жившее во мне всегда: я стыдился отца и гордился им, я чувствовал себя молодым и старым, праведным и неисправимо грешным, и я не мог унять дрожь в ногах, как не мог остановить неизвестно почему хлынувшие слезы.

У туристов были магнитофоны, и отец пел больше трех часов подряд. Раскаты его голоса обрушивались вниз с холма, отскакивали рикошетом от водной глади, пронзительно голубой в этот августовский день, и угасали на причале, среди рыбацких складов, где мужчины готовили сети к завтрашнему лову.

Отец пел старинные матросские песни, те, что переплыли океан и из поколения в поколение помогали рыбакам тянуть сети, он пел морские песни восточного побережья о славных суденышках, добывавших тюленей в проливе Нортамберленд, и о больших кораблях, ловивших рыбу на Ньюфаундлендских банках, около островов Антикости, Сейбл, Гран-Манан, Нантакет, Блок и в бостонской гавани. Потом он перешел на шотландские застольные песни, бесконечно длинные, с двадцатью и больше строфами и повторяющимся припевом, и мужчины на складах посмеивались над грубыми словечками и радовались, что туристы не понимали, чему хлопали и что записывали на магнитофоны для своего благонаправного Бостона. Уже на закате отец запел жалобные причитания и исступленные, хватающие за сердце военные песни своих безвестных, рассеянных по свету шотландских предков, и, когда голос отца замолк, суровая грусть трех столетий, казалось, нависла над затихшей гаванью, неподвижными катерами, мужчинами у дверных косяков складов с тлеющими в сумерках папиросами и женщинами с детьми на руках перед раскрытыми окнами, выходящими на море.

Вернувшись домой, отец, как всегда, бросил заработанные деньги на кухонный стол, но мать отказалась к ним прикасаться, и на следующий день он вместе с другими мужчинами ушел на берег наживлять свой трал. А вечером к нам явились туристы, но мать встретила их на пороге и сказала, что отца нет дома, хотя он лежал на кровати всего в нескольких футах от двери с папиросой в зубах и включенным радиоприемником. Мать не двинулась с места, пока туристы в конце концов не ушли.

Зимой новые друзья прислали отцу фотографию, сделанную в тот день, когда он пел. На обороте было написано:

«Нашему Эрнесту Хемингуэю», и слово «нашему» подчеркнуто. В письме, приложенном к фотографии, они написали, что отец доставил им огромное удовольствие, что пленка всем нравится, и рассказали, кто такой Эрнест Хемингуэй. На карточке отец в самом деле чем-то напоминал небритого Хемингуэя с кубинских фотографий. Его внушительный вид явно не вязался с окружающей обстановкой. Рыбацкая роба не вмещалась в бело-зеленое кресло, куда его усадили, резиновые сапоги занимали почти весь старательно подстриженный квадрат газона. пляжный зонт выглядел насмешкой над его покрасневшим от загара лицом, и так как он пел уже, видимо, довольно долго, его губы, обожженные весенним ветром и отраженным от воды летним солнцем, растрескались, запятнав красными капельками крови уголки рта и белую эмаль зубов. Медные браслеты на запястьях (отец носил их, чтобы края рукавов не натирали руки) казались неестественно большими, широкий кожаный ремень был распушен, плотная верхняя рубашка, так же как нижняя, застегнута не доверху, и на груди виднелась буйная поросль седых волос, подходившая вплотную к полуприрученной щетине на шее и подбородке. Голубые глаза смотрели прямо в объектив, а волосы соперничали в белизне с двумя крошечными облачками, видневшимися над его левым плечом. За ним лежало море, и неоглядная плоская голубизна где-то вдали смыкалась с голубой аркой неба. Море казалось очень далеким, вернее, отец был так сильно выдвинут на передний план, что на фоне гавани казался великаном.

Каждый год еще одна моя сестра начинала читать книги и уходила работать в ресторан. В жаркие летние вечера сестры часто возвращались очень поздно, и как только они входили в дом, мать начинала дотошно и придирчиво расспрашивать их, сестры обижались и старались от нее улизнуть. Прежде чем подняться к себе, они заходили к отцу, и те из нас, кто ждал наверху, слышали, как падала со стула одежда или как скрипела кровать, когда они усаживались около него. Иногда их разговор тянулся бесконечно, приглушенные голоса смешивались с музыкой из радиоприемни-

ка, и загадочный звук-химера словно облако поднимался к нам наверх.

Я снова говорю об этом так, будто все произошло в один день, будто мои сестры были одногодками и, точно лемминги, отправились однажды в дальние странствия, хотя на самом деле все, конечно, было по-другому. Но так или иначе, дом они оставляли, они уезжали в Бостон, в Монреаль, в Нью-Йорк вместе с молодыми людьми, своими летними знакомыми, и там, в далеких городах, выходили замуж. Молодые люди были очень разговорчивы и привлекательны, они носили хорошо сшитые костюмы и разъезжали в дорогих автомобилях, а мои сестры, как я уже говорил, были высокие и красивые, с медно-рыжими волосами, и им надоело штопать носки и печь хлеб.

Одна за другой сестры уезжали из дома. Каждая жила с матерью пятнадцать лет, потом мать теряла их из виду года на два, потом навсегда. Ни одна не вышла замуж за рыбака. И ни одного из молодых людей мать не согласилась признать своим зятем, так как считала их всех лентяями, неженками, обманщиками и чужаками. Мать не понимала, почему они не занимаются физическим трудом и что означают их роскошные поездки, она не знала, откуда они явились и кто они такие. И в конце концов она утратила к ним всякий интерес, потому что они не имели ничего общего с теми, кто был ей близок, и ничего общего с морем.

Я говорю это сейчас и изумляюсь своей глупости, потому что тогда мне казалось, что все это меня не касается, что я смогу хорошо учиться в школе, играть с товарищами, помогать на катере и спокойно дожидаться своего шестнадцатилетия или семнадцатилетия, хотя в то время седые пряди уже появились в темных волосах матери и отец, в изнеможении возвращаясь с причала домой, иногда уже с трудом волочил резиновые сапоги по каменистому берегу. А в нашем доме, когда-то таком шумном, осталось всего три человека.

Зимой, когда мне исполнилось пятнадцать, отец как-то вдруг состарился и заболел. Почти весь январь он пролежал в постели, курил, читал, слушал радио, а за стенами до-

ма завывал ветер, колючий снег безжалостно сек ледяной панцирь гавани, и чтобы справиться с входной дверью, нужно было вцепиться в нее мертвой хваткой.

В феврале, когда мужчины начали приводить в порядок ловушки на омаров, отец по-прежнему не вставал с кровати, и мы с матерью стали вечерами вязать горловины ловушек. Веревка была очень жесткая и шершавая, от работы наши пальцы покрывались волдырями, и тонкие струйки крови змеились по ладоням, а в заливе на плавучих льдинах тюлени с далекого Лабрадора стонали и плакали, как человеческие детеныши.

Днем к нам приходил брат матери — постоянный партнер отца, сколько я себя помнил, он тоже помогал приводить в порядок снасти. У этого высокого темноволосого мужчины, годом старше матери, было двенадцать детей.

К марту мы сильно запаздывали в работе, и хотя по вечерам я напрягал все силы, я знал, что этого мало, потому что до первого мая, когда начинался сезон, оставалось всего восемь недель. Я знал, что мать беспокоится, что дядя растерян и что наша жизнь не на словах, а на деле зависит от этих восьми недель: первого мая катер, снасти и двое мужчин должны быть готовы к выходу в море. Тогда я понял, что пришло время навсегда распрощаться с «Давидом Копперфильдом», с «Бурей» и со всеми остальными книгами, ставшими моими настоящими друзьями. И я сказал им до свидания.

В первый пропущенный учебный день отец дождался, когда мать вечером поднялась наверх, и позвал меня к себе; я вошел и сел на стул возле его кровати.

— Завтра ты вернешься в школу,— спокойно сказал он.

Я отказался, я заявил, что принял решение и доволен.

— Так не принимают решения,— продолжал отец,— ты, может быть, доволен, но я нет. Тебе лучше вернуться в школу.

Тогда я рассердился и закричал, как все дети, что не хочу больше жить по его указке и ему лучше оставить меня в покое.

Отец долго смотрел на меня, лежа на той самой кровати, где зачал меня шестнадцать лет назад, зачал меня, своего единственного сына, движимый бог весть каким чувством, когда ему уже исполнилось пятьдесят шесть лет и волосы его стали белыми как снег. Потом он перекинул ноги через край заскрипевшей кровати, сел лицом ко мне, пронзил мои темные глаза взглядом своих прозрачных голубых глаз и положил руку мне на колено.

— Я не указываю,— негромко сказал он,— я только прошу.

На следующее утро я вернулся в школу. Когда я уходил, мать стояла на крыльце.

— Никогда не думала, что моему сыну никчемные книжки дороже родителей, давших ему жизнь,— сказала она мне вслед.

Каким-то чудом отец через несколько дней встал с постели и привел в порядок снасти, а за последние две недели апреля, когда одинокие чайки, пронзительно крича, вновь начали преследовать сельдь, засверкавшую серебром в синей воде, он заново покрасил «Дженни Линн».

Первого мая катера, как обычно, вышли в море, нагруженные чуть не до бортов тяжелым грузом ловушек. Они казались почти живыми существами, так стремительно неслись они по весенней воде, лавируя между прозрачно-белыми и изумрудно-зелеными айсбергами, все еще затруднявшими доступ к издавна распределенным участкам, куда ежегодно направлялись катера в этот день. Те из нас, кто первого мая сидел в школе на холме и обсуждал поэтические приемы изображения воды у Теннисона, видели, как катера сновали взад и вперед, пока горы ловушек, высившиеся на причале, не улеглись к концу дня на морское дно. «Дженни Линн» тоже трудилась весь день под командой моего дяди: высокий и темноволосый, он стоял у руля, широко расставив ноги, и искусно лавировал между плавучими льдинами; отец в такой же позе стоял на корме, ухватившись за веревки, крепившие груз на палубе. А вечером мать спросила:

— Ну, как дела сегодня на катере?



Весна постепенно подошла к концу, настало лето, во второй половине июня прекратились занятия в школе, к первому июля кончился лов омаров, и я мучился, потому что привязанность к школе и к морю грубо и безжалостно разрывала меня на части.

Когда кончился лов омаров, дядя сказал, что ему предложили место на большом траулере и он решил согласиться. Мы все понимали, что дядя больше не вернется на «Дженни Линн», так как к новому сезону сможет купить собственный катер. Он ждал еще одного ребенка, со следующей весны ему предстояло содержать семью из пятнадцати человек, и он не мог ради отца рисковать благополучием жены и детей.

Я занял место дяди, отец не возражал, и мать была счастлива. Днем мы заправляли ловушки наживкой, на закате опускали трал в воду, рано утром, еще в темноте, проверяли улов — так проходило лето. В четыре утра мужчины с громким топотом проходили мимо нашего дома, мы с отцом присоединялись к ним, и прежде чем солнце поднималось из океана, где оно, казалось, проводило ночь, катера отплывали от причала. Если я просыпал, мужчины бросали гальку в мое окно; сгорая от стыда, я скатывался с лестницы и заставлял отца одетым, он лежал на кровати поверх одеяла, читал, слушал радио и курил. При моем появлении отец рывком вставал с постели и натягивал сапоги; не задерживаясь ни на минуту, мы захватывали завтраки, с вечера приготовленные матерью, и шли к морю. Ни разу отец не разбудил меня сам.

Это было хорошее лето — щедрое на удачи. Штормы налетали лишь изредка, и мы почти каждый день выходили в море, снасти рвались редко, рыбы мы добывали много, и я стал темно-коричневым от загара, под стать моим дядьям.

Из-за красноватой кожи отец, по обыкновению, не загорел, и соленая вода вызывала у него сильное раздражение, как все предыдущие шестьдесят лет. Он обгорал, кожа сходила, он обгорал и снова и снова, губы у него растрескались и кровоточили, когда он улыбался, а руки, особенно левая, покрылись мокнувшими нарывами; так бывало всегда, еще во времена моего детства, когда я впервые заметил, что отец

смачивает и протирает их какими-то бесполезными жидкими снадобьями. Ранней весной мужчины надевали на запястья браслеты из медных колец, чтобы концы рукавов не натирали руки, отец не снимал браслеты ни весной, ни летом и брился с мучительным трудом раз в неделю.

В то лето я будто увидел заново многое из того, что видел всю свою жизнь, и у меня появилась мысль, что по своему физическому и умственному складу отец не был прирожденным рыбаком. Во всяком случае, таким, как мои дядья, потому что он никогда не любил море. И я вспомнил, как однажды вечером мы говорили у него в комнате про «Давида Копперфильда», и он сказал, что в молодости хотел поступить в университет; тогда я пропустил его слова мимо ушей, как каждый, кто услышал бы, что его отец в молодости хотел стать канатоходцем, и мы продолжали разговаривать о семействе Пегготи, где все любили море.

Но в то лето я понял, что многое в нашей семье и в жизни каждого из нас сложилось не так, и я задумался, почему мой отец, единственный сын своих родителей, не женился до сорока лет и почему он в конце концов женился. Я даже заподозрил, что ему пришлось жениться на моей матери, и просмотрел даты, записанные на чистом листе в конце нашей семейной библии, откуда узнал, что моя старшая сестра прозаически родилась через одиннадцать месяцев после свадьбы, и мне стало стыдно за свой поступок, за то, что я сам себя испачкал и унизил.

И тогда мое сердце переполнилось любовью к отцу, и я подумал, что тому, кто тратит жизнь на нежеланное дело, нужно куда больше храбрости, чем тому, кто, забыв о других, уступает своим склонностям и предается несбыточным мечтам. Я решил, что никогда не оставлю отца и не позволю матери непрерывно вонзать в его душу гарпуны с железными наконечниками упреков за то, что он потерпел поражение как муж и отец, не удержав дома ни одного из своих детей. И я почувствовал, что где-то внутри меня, в крошечном тайнике, сидит маленький мальчик и что даже окончание школы — глупая, пустая, эгоистичная затея.

Вот почему однажды вечером я твердо и решительно заявил отцу, что останусь с ним, пока он жив, и буду вместе с ним ловить рыбу. Отец не протестовал, он только улыбнулся сквозь табачный дым, висевший над его кроватью, и сказал:

— Надеюсь, ты запомнишь свои слова.

Комната отца к этому времени была уже настолько заполнена книгами, что казалась вполне диккенсовской, но отец не разрешал матери вынести хоть часть из них и по-прежнему прочитывал одну-две книги за ночь. Теперь они приходили регулярно; по большей части это были книги в твердых переплетах, присланные сестрами, давным-давно уехавшими из дому, настолько давно, что сами они казались недостижимо далекими и недостижимо преуспевающими, потому что, кроме книг, присылали фотографии маленьких рыжеволосых внуков с бейсбольными битами и куклами, и эти фотографии красовались на письменном столе отца, где мать с недоуменной тоской разглядывала их, когда думала, что ее никто не видит. Разглядывала их, рыжеволосых внуков с бейсбольными битами и куклами, не узнающих никогда, как ненавидят и как любят море.

Мы с отцом рыбачили весь жаркий август и более прохладный сентябрь, когда вода стала такой прозрачной, что мы почти видели дно, а на ранней заре над морем уже поднимались белые струйки тумана, напоминавшие пугливых призраков. И однажды мать сказала мне:

— Ты подарил отцу несколько лет жизни.

Мы рыбачили в октябре, когда погода начала портиться, и, не рискуя сетями, мы уже не могли оставлять их на ночь, и нам приходилось забрасывать сети каждое утро и возвращаться за ними при первых тревожных порывах ветра; мы рыбачили в ноябре, когда с трала сорвало три бочонка, потому что прозрачная голубая вода стала тускло-серой и по ней заходили огромные свирепые волны, накрывавшие нос и палубу нашего катера, пробиравшегося в желобах между ними. Мы надевали толстые свитера, неуклюжие плащи, толстые рукавицы, намокавшие и превращавшиеся в глыбы льда, висевшие у нас на запястьях, как лапы огромных чудо-

виш, пока мы не оттаивали их, согревая у чуть теплой трубы катера. И почти каждый день мы возвращались домой до полудня, спасаясь бегством от северо-западного ветра, покрывавшего ледяной коркой наши брови и ресницы, когда, наклонившись вперед при почти полном отсутствии видимости, мы определяли курс по компасу и, придерживаясь его, старались плыть по волнам или между ними, оберегая катер от ударов гигантских морских валов.

Во время этих стремительных бросков к дому я стоял у руля на том самом месте и в той же позе, что мой дядя, и, оглядываясь назад, старался докричаться сквозь рев мотора и клочкотанье моря до кормы, где в луже стекавшей с него воды стоял отец, мокрый до нитки от снега и соленых брызг, застывавших на его кустистых бровях тяжелым ледяным козырьком. Но двадцать первого ноября, когда мы вышли в море скорее всего в последний раз в сезоне, я оглянулся и не увидел отца и в то же мгновение понял, что не увижу его больше никогда.

Двадцать первого ноября волны седой Атлантики вздымаются очень-очень высоко, вода очень холодная и на морских дорогах нет указателей. Определить, где ты находился пять минут назад, нет никакой возможности, и сквозь снежную кашу ничего не видно. Чтобы остановить катер, подгоняемый штормовым ветром, и осторожно повернуть его назад, делая большой бессмысленный круг, когда от лобового ветра скрипят и, кажется, вот-вот лопнут шпангоуты, нужно значительно больше времени, чем может показаться. К тому же ты знаешь, что все эти усилия тщетны, что твой голос не долетает и до кормы и что, если даже ты окажешься в том месте, где случилось несчастье, неустомимые волны успеют за это время далеко унести свою добычу. И еще ты знаешь, что твой отец — последняя насмешка судьбы — совсем не умеет плавать, как, впрочем, и твои дядья и все твои дедушки и прадедушки.

Прибрежные воды Кейп-Бретона все еще богаты омарами, и сейчас, с мая по июль, драгоценную добычу укладывают в корзины со льдом и огромные транспортные грузовики день

и ночь мчат ее со страшным грохотом через Нью-Глазго, Амхерст, Сент-Джон, Бэнгор и Портленд в Бостон, где омаров, еще живых, опускают в чаны с кипящей водой, их последнее прибежище.

Но хотя цены на омаров поднялись и конкуренция ужесточилась, участки, когда-то принадлежавшие отцу, остаются неприкосновенными и ныне, как все последние десять лет. Ибо пусть в штормовом море нет указателей, в спокойном они есть, и места ловли омаров были распределены в штиль еще в незапамятные времена, поэтому мой отец рыбачил на участках своего отца, а тот своего, а тот своего...

Рассчитывая на богатую добычу, большие рыболовные суда дважды проплывали сорок — пятьдесят миль и укладывали на дно отцовских участков свои ловушки и дважды, вернувшись, находили сорванные с якорей буйки и порванные снасти. Дважды в гавани появлялась конная полиция вместе с чиновником из Управления рыболовством, они задавали множество въедливых вопросов и оба раза не дождались ответа ни от мужчин, стоявших в дверях своих складов, ни от женщин с детьми на руках, стоявших у окон своих домов. Дважды уходили они со словами: «В море нет никаких границ», «Море не принадлежит никому», «Эти участки никого не ждут».

Но наши мужчины и женщины вместе с моей темноволосой матерью не удостоили вниманием их слова, потому что для них участки священны и, по их мнению, участки ждут меня.

Нелегко жить, зная, что твоя мать осталась одна, что ее единственный доход — нищенская страховка и что она слишком горда, чтобы принять какую-нибудь помощь. Жить, зная, что зимой она смотрит из своего одинокого дома на ледяные поля, летом на спокойную теплую синеву и осенью на бегущие волны. Знать, что она лежит без сна во тьме раннего утра и слышит, как хрустит галька под резиновыми сапогами мужчин, спешащих мимо ее дома к причалу. Лежит, понимая, что они не остановятся, потому что ни один мужчина не выйдет из ее дома, и она единственная из всех Лин-

нов, у кого нет ни сына, ни зятя, торопливо шагающего к катеру, уходящему в море. Нелегко жить, зная, что твоя мать смотрит на море с любовью и думает о тебе с горечью, потому что море осталось с ней, а ты нет.

И еще труднее жить, зная, что твоего отца нашли двадцать восьмого ноября в десяти милях к северу от гавани зажатым между двумя валунами у подножья скал, где волны швыряли и волочили его по камням. Его руки были изодраны в клочья и ноги, разутые морем, тоже, его плечи развалились у нас в руках, когда мы попытались снять его с камней. Рыбы объели его пальцы, чайки выклевали его глаза, а бело-зеленая щетина усов, будто трава на могиле, продолжала расти и после его смерти на багровом раздувшемся месиве, бывшем когда-то его лицом. Немного осталось от моего отца; лежавшего на камнях с медными браслетами на запястьях и с водорослями в седых волосах, от его тела — немного.

# Маргарет Этвуд

## Украшения из волос

Должен же быть какой-то подход, какой-то прием, какой-то метод — вот оно, искомое слово, настолько антисептичное, что от него дохнут микробы. Итак, метод, способ, который позволит мне провести эту мысленную операцию бескровно, а тем самым безболезненно, и я смогу вспомнить мою былую любовь спокойно. Я пытаюсь воскресить себя из прошлого такой, какой я была в ту пору, заодно пробуя восстановить в памяти и твой образ, но это все равно что вызывать с того света духов. Где гарантия, что я сейчас не придумываю нас обоих? А если не придумываю, тогда это и вправду смахивает на спиритизм — опасная игра. Зачем мне тревожить покой призраков, привычно кружащих в лунатическом сне по улицам, где мы когда-то жили, зачем будить тени, чьи очертания год от года проступают все слабее, чьи голоса становятся все тише и тоньше — не более чем скрип пальца по мокрому окну, писк насекомого, звуки прозрачные, как стекло, не складывающиеся в слова. Никто ведь в действительности не знает, то ли мертвым на самом деле хочется вернуться из небытия, то ли их заставляют возвращаться живые. Принято считать, что у духов есть что нам поведать. Не скажу, чтобы я в это особенно верила; в данном, конкретном случае скорее я могу кое-что поведать им, а не наоборот.

Осторожно! — хочется написать мне. Помните о будущем, рука господня ясно и неотвратно чертит письмена на стене храма, на свежем снегу — как мне представляется, был декабрь, — прямо перед парочкой, что бредет по брусчатке Бостона, города, подванивающего претенциозностью; на

высоких каблуках девушке скользко, и ноги у нее мокнут лишь из-за женского тщеславия. Зимняя обувь была в те годы уродлива: тяжелые, бесформенные, как ступня носорога, резиновые боты — их называли «авиационными», — или по-старушечьи отороченные мехом «аляски», или что-то вроде шлепанцев с острыми носами; а еще были пластиковые клинообразные сапожки, они быстро желтели, в пластик въедалась грязь, и в итоге они напоминали гнилые зубы.

Это и есть мой метод, я воскрешаю себя через вещи. Более того, мне вообще не вспомнить, что я делала и что со мной происходило, если сначала не припомню, как была в тот или иной момент одета. Потому-то каждый раз, когда я расстаюсь с каким-нибудь свитером или платьем, я расстаюсь с частью моего прошлого. Как змея сбрасывает кожу, так и я сбрасываю с себя оболочки и ползу дальше, оставляя их позади, выцветшие и ветхие, целый хвост, и, чтобы не лишиться воспоминаний напрочь, мне приходится бережно собирать эти кусочки твида и полотна и сшивать их вместе, пока мое прежнее «я» не начинает проглядывать сквозь это лоскутное одеяло, несколько не защищающее от холода. Я сосредоточиваюсь, и заблудшая душа мертвеца, интересующего меня в данную минуту, затхлым облачком воспаряет посреди автостоянки в центре Торонто из железного ящика с надписью «Жертвуйте старую одежду в фонд помощи инвалидам» — именно туда я в конце концов выбросила то пальто.

Пальто было длинное и черное. Отличного качества — в те времена качество еще что-то значило, и в женских журналах давалось много полезных советов, как ухаживать за одеждой, как правильно гладить, как выводить пятна с верблюжьей шерсти, — оно тем не менее было мне слишком велико, рукава почти закрывали пальцы, а длинные полы находили на пластиковые сапожки, которые, кстати, тоже были мне великоваты. Когда я купила это пальто, то решила, что обязательно его перешью, но потом так и не собралась. Впрочем, весь мой гардероб был по большей части в том же духе, все мои вещи были мне велики; возможно, я подсозна-



тельно верила, что в необъятных балахонах, своеобразным шатром ограждающих меня от внешнего мира, я буду меньше бросаться в глаза. Но на деле все было наоборот: когда я проплывала по улицам в своем черном шерстяном саване с тюрбаном на голове — по-моему, я тогда наматывала на себя клетчатый шарф из ангорской шерсти, тоже отличного качества, а может, и не этот шарф, неважно, так или иначе голова у меня была чем-то обмотана, — я привлекала к себе куда больше внимания, чем многие другие.

Эти вещи я купила там же, где крайне редко делала все свои покупки — не забывай, что в те годы и ты и я были совсем нищими, чем отчасти и объясняется безысходность нашей тогдашней ситуации, — а именно в цокольном этаже универмага «Файлин», где сбывались по сниженным ценам вещи отличного качества, не приглянувшиеся покупателям на этажах повыше и поприличнее. Так как примерочных кабинок там было очень мало, часто приходилось мерить все прямо в проходах между рядами, и в дни распродажи подвал — это был никакой не цокольный этаж, а самый настоящий подвал, с низким потолком, плохо освещенный, пропитанный сырым запахом потных от волнения подмышек и усталых ног, — был забит женщинами в комбинациях и бюстгальтерах: под аккомпанемент тяжких вздохов и скрежета сотен заедающих молний они впихивали себя в рваные и грязные платья с автографами дизайнеров. Стало традицией подтрунивать над любительницами распродаж, над их охотничьим азартом, ненасытностью и истеричностью, но происходившее в подвале «Файлина» было по-своему трагично. Тамошние покупательницы, все без исключения, мечтали, что вмиг волшебным образом преобразятся и начнут новую жизнь, но почему-то ни одна вещь никому не приходилась впору.

Итак, под черным пальто на мне тяжелая твидовая юбка серых тонов и коричневый свитер всего с одной не очень заметной дыркой, которая мне дорога, потому что это ты прожег ее своей сигаретой. Снизу на мне комбинация (слишком длинная), лифчик (слишком тесный), трусики в розовый цветочек — тоже из подвала «Файлина», почти даром,

за двадцать пять центов, пять пар таких трусиков там продают за доллар, — нейлоновые чулки и пояс с резинками: из-за того что пояс чересчур велик, он ездит на мне во все стороны и швы на чулках закручиваются спиралью, как серпантин. Я тащу чемодан, который для меня слишком тяжел — рюкзаки тогда еще не вошли в моду, их брали только в туристические походы, — потому что в нем лежит второй комплект столь же увесистых и столь же не соответствующих моему размеру одеяний плюс шесть готических романов XIX века и пачка писчей бумаги. Уравновешивая тяжесть чемодана, левую руку мне оттягивают портативная пишущая машинка и приобретенная в подвале «Файлина» сумка — гигантский мешок, бездонный, как могила. На улице февраль, ветер хлещет мое развевающееся черное пальто где-то далеко у меня за спиной, пластиковые сапожки скользят по льду тротуара, в стекле витрины я вижу свое отражение: навьюченная, как верблюд, толстая женщина с красным лицом. Я безнадежно влюблена и спешу на вокзал, чтобы удрать от любви.

Будь я побогаче, я бы спешила не на вокзал, а в аэропорт. Я бы полетела в роскошные экзотические края: в Калифорнию, в Алжир или еще куда-нибудь — главное, чтобы там было тепло. Но, увы, денег у меня хватало только на трехдневную поездку в Сейлем или к не менее знаменитому озеру Уолден\*, где зимой не слишком приятно. Я уже успела внушить себе, что для моего образования выезд в Сейлем будет гораздо полезнее, чем путешествие в Алжир. К тому же считалось, что я штудирую Натаниэла Готорна\*\*. Тогда так и говорили: «штудировать». Да и до сих пор так говорят. В Сейлеме я смогу проникнуться атмосферой творчества Готорна, уговаривала я себя, и, может быть, после этой отнюдь не вдохновляющей меня экспедиции наконец про-

\* Озеро Уолден — известно в американской литературе по роману Генри Торо (1817—1862) «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854).

\*\* Натаниэл Готорн (1804—1864) — известный американский писатель. Родился и много лет жил в Сейлеме (штат Массачусетс). Перу Готорна принадлежат несколько романов, в том числе и упоминаемый в книге «Дом с семью шпильями».

клюнется, как одуванчик сквозь трещину в асфальте, статья, так необходимая для спасения моей научной карьеры. Знаменитые мрачные улочки, витающий над Сейлемом дух пуританской тоски в сочетании с промозглым февральским морским ветром — все это, как внезапное погружение в ледяную воду, может неожиданно и резко пробудить мой дар литературного критика, мое умение ваять слова и сочинять вразумительные сноски, то есть делать все то, что пока не давало иссякнуть скудному ручейку стипендии, на которую я существовала. Последние два месяца мои научные способности были совершенно парализованы неразделенной любовью. Я надеялась, что несколько дней вдали от тебя помогут мне собраться с мыслями и все обдумать. В дальнейшем я на собственном опыте убедилась, что подобные искусственные разлуки ничего не дают.

В тот период моей жизни мне казалось, что я никогда не испытаю никакой другой любви, кроме неразделенной. Я от этого очень страдала, но сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что неразделенная любовь имела свои преимущества. Переживаний от нее было ничуть не меньше, чем от взаимной любви, зато риска — никакого. Неразделенная любовь ничуть не нарушала привычного хода моей жизни — пусть эта жизнь была скучна, но она была моя, мне все в ней было понятно — и не вынуждала меня принимать решения. Перенесенная в мир грубой физической реальности, любовь могла бы заставить меня сбросить мои гиперболических размеров одеяния (желательно в темноте или в ванной — какой женщине захочется, чтобы мужчина увидел, как она отстегивает булавки!), а неразделенная любовь не посягала на мои метафизические покровы. В те времена я верила в метафизику. Начитавшись Платона, я представляла себе свой метафизический образ как некое подобие таинственно закутанной египетской мумии, рискующей обратиться в прах, едва ее распеленают. А неразделенная любовь не требовала от меня стриптиза.

Если бы, как потом случалось не раз, моя любовь оказалась взаимной, если бы пришлось задуматься о будущем

и принять решение, дело неизбежно кончилось бы тем, что по утрам у меня над ухом жужжала бы электробритва моего возлюбленного, а сам он в это время соскребал бы вилкой желток со стоящей перед ним тарелки с яичницей. Я была в панике. Мои литературоведческие изыскания давно открыли мне, что наступает момент, когда ближайший друг, человек, которому ты безгранично доверяешь, вдруг превращается в вампира с оскаленными клыками или взлетает на метле, — к этому я была готова, и такой поворот меня мало пугал. Гораздо больше я боялась пережить другой момент, тот, когда с моих глаз спадет пелена и я увижу, что мой нынешний возлюбленный вовсе не полубог и даже не притягательное своей отвратительностью чудовище, а обыкновенный человек. Склонившись со свечой над Амуром, Психея увидела перед собой отнюдь не крылатого бога, а лишь прыщавого юнца с цыплячьей грудью, вот почему она потом так не скоро и с таким большим трудом смогла вновь обрести настоящую любовь. Демона любить легче, чем человека, хотя такая любовь гораздо меньший подвиг.

Ты, конечно же, был само совершенство. В меланхолическом взоре твоих матовых, как черный мрамор, скорбных, как погребальная урна, глаз не проскальзывало и тени банальных мечтаний о собственном загородном коттедже и электрической газонокосилке, ты покашливал, как Родерик Ашер\*, ты представлялся себе — а значит, и мне — изгоем, обреченным и неприкаянным, как Дракула.

Почему, интересно, томная грусть в очах и ощущение болезненной хрупкости так неотразимо притягивают девушек? Среди моих студентов я наблюдаю тот же феномен: каждому из этих надломленных молодых людей, которые с видом изнуренных солитером страдальцев распластываются на коврах — наше высшее учебное заведение предусмотрительно обеспечило коврами все общежития, — непременно поклоняется какая-нибудь девушка; она покупает своему божееству сигареты и поит его кофе, а за это на нее изливаются потоки желчи, когда в приступах хандры ее кумир ниспро-

\* Родерик Ашер — герой рассказа Эдгара По «Падение дома Ашеров».

вергает всех и вся, в первую очередь осыпая язвительными насмешками ее самое, потому что она не так одевается, потому что у ее родителей в доме два телевизора — хотя его родители, вероятно, как две капли воды похожи на ее «предков», — потому что у нее не те друзья, она не то читает и не о том думает. Почему девушки с этим мирятся? Возможно, им все это нужно для контраста, чтобы на таком фоне чувствовать себя здоровыми и жизнеспособными; или, может быть, эти молодые люди служат им зеркалом, отражающим то, в чем девушкам трудно себе признаться, то есть убожество и сумятицу их собственного внутреннего мира.

Наш с тобой случай отличался от ему подобных лишь внешними деталями, а по своей безысходной сути у нас все было в точности как у других, я в этом уверена. В аспирантуру я подалась потому, что не хотела идти в секретарши, другими словами, не хотела всю жизнь покупать «вещи отличного качества» в подвале «Файлина»; ты же оказался там, потому что не хотел попасть в армию, а в те времена университет еще давал призывникам отсрочку. И я и ты были из маленьких провинциальных городков, где понятия не имели, как мы в действительности живем, но полагали, что жалкие гроши стипендии, которой нас благодетельствовали местные деловые клубы, помогут нам сделать блестящую карьеру в неведомой области науки, что в свою очередь каким-то образом поднимет престиж наших городишек. Но ни я, ни ты не хотели становиться профессиональными учеными, и нам делалось не по себе при виде настоящих научных работников в тирольских шляпах и с солидными портфелями — нам они чем-то напоминали клерков обувных фирм. Вместо того чтобы «штудировать», мы дули пиво в дешевых немецких ресторанчиках Бостона, потешались над напыщенностью наших семинаров и высмеивали интеллектуальные изыски наших собратьев по аспирантуре. Иногда мы прочесывали библиотечные стеллажи в поисках книг с загадочными, никому не известными названиями, чтобы на ближайшей литературной дискуссии сослаться на них тем почтительным тоном, который так быстро усваивают все будущие доценты,

и с удовольствием понаблюдать, как наши коллеги растерянно хлопают глазами. А еще мы иногда пробирались на факультет музыкального искусства, находили там свободную аудиторию с роялем и пели душещипательные викторианские романсы, или разухабистые куплеты из оперетт, или грустную балладу Эдварда Лира, ту самую, которую нас заставили разбирать на семинаре в начале года на предмет выявления в ней фрейдистской символики.

Эта баллада ассоциируется у меня с одной моей юбкой из коричневого вельвета: я соорудила ее собственноручно, и снизу она была в нескольких местах прихвачена на живую нитку, потому что у меня не хватило моральных сил подшить подол до конца.

Возле моря, в Кормонделе,  
Где на солнце тыквы рдели,  
В чаще леса, меж грибов  
Жил-был Йонги-Бонги-Бо.  
    Стол и стул, огарок свечи,  
    Треснувший кувшин у печки,  
    Ну а больше ничего  
Нет у Йонги-Бонги-Бо.

Неполноценная свечка и разбитый кувшин вызвали на семинаре немало двусмысленных смешков, но для нас с тобой эта картина была исполнена глубокой патетики. Состояние дел в Кормонделе, нищета и беспросветность, окружавшие героя баллады, слишком явно перекликались с нашей собственной жизнью.

Наша основная проблема, как мне думалось, заключалась в том, что ни окружавший нас мир, ни простиравшееся перед нами будущее не позволяли с точностью предугадать наш дальнейший путь. Нас держала в плену сиюминутность, мы словно застряли посреди тоннеля метро в пустом вагоне, где, кроме нас, никого не было, и, оказавшись в этой вынужденной изоляции, мы судорожно цеплялись за сложившиеся у нас в уме образы друг друга. По крайней мере примерно так я оценивала всю эту ситуацию, когда тащила свой тяжеленный чемодан по окутанному морозными сумерками Сейлему

к гостинице — единственной не закрытой на зиму, если верить тому, что сказал мне в поезде проводник. Мне сейчас трудно восстановить все в подробностях, но, по-моему, вокзал в Сейлеме был тесный и мрачный, освещение там, как в бостонском метро, было грязновато-оранжевого цвета, и так же, как в метро, там несло хлоркой, которой безуспешно посыпали слой засохшей мочи, своей древностью вызывавший чуть ли не уважение. Ничто здесь не напоминало ни о пуританах, ни о ведьмах, ни даже о здоровяках корабелях, мне приходили на ум только изможденные чахоточные рабочие — более поздние поколения сейлемцев.

Гостиница была запущенной, хотя, видимо, как и вокзал, знавала лучшие времена. Там шел ремонт и по коридорам было почти не пройти, так как всюду валялся брезент и стояли стремянки маляров. Если бы не ремонт, сказал портье, который, кажется, был заодно и коридорным, и администратором, а может быть, и владельцем гостиницы, он бы все закрыл и уехал во Флориду. «Сюда приезжают только летом,— сказал он.— Посмотреть Дом с семью шпилями и тому подобное». Он был явно возмущен самим фактом моего появления, но еще больше его злило, что я отказываюсь открыть ему истинные причины своего визита в Сейлем. Я сказала, что приехала посмотреть кладбище, но он не поверил. Волоча мой чемодан и пишущую машинку к продуваемой ветром камерке, куда он решил определить меня на постой, он все время оборачивался, словно рассчитывал углядеть у меня за спиной мужчину. По его твердому убеждению, загнать человека в Сейлем в феврале могла только запретная любовь. Конечно же, он был прав.

Кровать была узкая и жесткая, как стол в прозекторской; хотя окно было закрыто, по комнате гулял свежий морской ветер, но вскоре я поняла, что администрации гостиницы известно об этом обстоятельстве и она предприняла необходимые контрмеры: очередную атаку на холод батарея парового отопления возвещала громкими воплями и стонами.

То и дело просыпаясь, я думала о тебе и проигрывала в воображении сцены из нашей будущей совместной жизни,

которая, как я понимала, долго не продлится. Естественно, мы станем любовниками, хотя эту тему мы с тобой пока не обсуждали. В те годы, помнишь, такие вещи принято было сначала обговаривать, и потому в своих отношениях мы с тобой еще не успели зайти дальше нескольких неловких прикосновений на прогулках, не считая, конечно, того эпизода, когда однажды в полнолуние ты обнял меня на пустой мощеной улочке и, сделав вид, что хочешь сломать мне шею, объявил, что ты — Бостонский душитель\* (с моей страстью к параллелям из литературы я восприняла эту шутку почти как состоявшееся соблазнение). Но хотя общая постель казалась мне обязательным и даже не лишенным приятности элементом нашего будущего, я размышляла не столько о ритуале секса, сколько о том, каким будет наше расставание, а оно рисовалось мне печальным, нежным, преданным и окончательным. Я без устали проигрывала в уме эту сцену, выбирая для нее самые разнообразные декорации: то некое крыльцо, то причал, то поезд, то самолет, то станцию метро, то садовую скамейку. Мы не будем зря тратить слова, мы просто поглядим друг на друга и все поймем (хотя что именно мы должны будем понять, я пока не очень себе представляла), а потом ты завернешь за угол и исчезнешь навсегда. На мне будет длинное двубортное пальто с поясом и накладными карманами; я его, правда, еще не купила, но прошлой осенью в подвале «Файлина» видела одно такое, и оно мне понравилось. Сцена на садовой скамейке — чтобы подчеркнуть грусть разлуки, я выбрала временем действия весну — получилась такой впечатляющей, что я расплакалась, и хотя, кроме меня, в гостинице никого не было, из страха, что мои рыдания услышат, постаралась синхронизировать их с воплями батареи. Молодежи очень импонирует мелодрама, а я в ту пору еще не до конца исчерпала возможности этого жанра.

За ночь я устала переживать и пускать сопли. И утром ре-

\* Бостонский душитель — прозвище преступника Альберта де Сальво, сексуального маньяка, совершившего в 1962—1964 гг. тринадцать зверских убийств женщин.



шила, что непременно отыщу старое Сейлемское кладбище, где, может быть, набреду на несколько оригинальных эпитафий XVII века, которые пригодятся для моей статьи о Готорне. В холле рабочие красили стены; пока я шла по коридору, они провожали меня оцепенелыми взглядами, словно лягушки в пруду. Портье нехотя выдал мне изданный Торговой палатой туристский проспект с картой Сейлема и кратким перечнем здешних достопримечательностей.

На улицах не было ни души, да и машины проезжали редко. Покрытые копотью, облупившиеся от соленого воздуха дома казались заброшенными, хотя кое-где за потемневшими кружевными занавесками в окнах виднелись неясные очертания лиц. Небо было серое и все всклокоченное, как внутренности старого матраса. Дул сильный ветер. Я семенила по тротуару в своих скользких сапожках, ветер надувал мое черное пальто, как парус, и я развила довольно приличную скорость, но едва свернула за угол, как ветер перестал меня подгонять. Очень скоро я поняла, что на кладбище не пойду.

Вместо этого я зашла в какой-то ресторанчик: я ведь еще не завтракала — в суровых условиях гостиницы о завтраке нечего было и мечтать, — и мне хотелось спокойно поесть и обдумать, что я предприму дальше. Я заказала сэндвич с яйцом и стакан молока, достала свой туристский проспект и принялась изучать список сейлемских исторических мест. Пока я ела, официантка и владелица ресторана — кроме них, в зале никого не было — стояли поодаль и, сложив руки на груди, недоверчиво наблюдали за мной, будто ждали, что я вдруг выпрыгну из-за стола и с помощью ножа для масла совершу какой-нибудь жуткий колдовской обряд. Из проспекта выяснилось, что Дом с семью шпилями на зиму закрыт для посещений. Впрочем, к Готорну он все равно не имел ни малейшего отношения: самый обычный, случайно не снесенный старый дом, которому присвоили название известного романа и теперь за деньги пускали туда людей на экскурсии. И никаких вам «перил, хранящих прикосновения рук писателя»! Я думаю, как раз тогда, в Сейлеме,

я впервые стала относиться к литературе с долей цинизма.

Если верить Торговой палате, определенный интерес представляла еще только библиотека. В отличие от других местных достопримечательностей, она была открыта даже в феврале и, как уверял проспект, славилась на весь мир своей коллекцией родословных записей. Идти в библиотеку мне абсолютно не хотелось, но возвращаться в гостиницу к стуку молотков и запахам краски было бессмысленно, а сидеть весь день в ресторане я не могла.

В библиотеке было пусто, только какой-то пожилой мужчина в фетровой шляпе, явно не зная, как убить время, угрюмо разглядывал ряды томов с родословными. Женщина официального вида с пучком на затылке насупленно сидела за конторским столом и решала кроссворд. Библиотека была к тому же чем-то вроде музея. Здесь стояло несколько резных фигур из тех, что в старину укрепляли на носу парусников — русалки со строгими глазами, деревянные мужчины, стилизованные рыбы и львы, — от времени позолота на них потускнела и облезла. В застекленных витринах лежали викторианские украшения из волос; хрустальное стеклышко, вставленное в каждую брошку или кольцо, защищало от пыли сплетенные из волос цветы, инициалы, веночки, силуэты плакучих ив. Наиболее затейливые рисунки были сплетены из волос разных оттенков. Первоначально волосы, должно быть, отливали блеском, но от старости выцвели и сейчас напоминали набивку кресел. Мне неожиданно подумалось, что Донн\* ошибался, когда писал про «завиток волос блестящих на голом черепе скелета». На картонной табличке было от руки написано, что многие из представленных экспонатов относятся к так называемым «мемориальным» украшениям, которые предназначались для раздачи на похоронах друзьям и близким покойного.

— А эти мемориальные, — обратилась я к женщине за столом, — их что?.. То есть я хочу спросить... волосы для них срезали до или после?

Женщина оторвалась от кроссворда и подняла на меня

\* Джон Донн (1572—1631) — английский поэт.

глаза. Было видно, что она совершенно не понимает, о чем я говорю.

— До или после смерти,— пояснила я. Потому что мне казалось, что делать такое, пока человек еще жив, было бы слишком бессердечно. Но если волосы срезали уже после смерти, то как успевали выплестать эти плакучие ивы до похорон? И вообще, кому это могло взбрести в голову? Я не представляла себе, что стала бы носить под горлом тяжелую металлическую брошку, набитую, как диванный валик, тускнеющими локонами моего покойного возлюбленного. Это же все равно что хранить засушенную руку. Или петлю с шеи висельника.

— Понятия не имею,— брезгливо сказала женщина.— Это передвижная выставка.

Мужчина в фетровой шляпе поджидал меня в засаде за дверью. Когда я вышла, он предложил мне пойти с ним выпить. Вероятно, он тоже остановился в гостинице.

— Нет, спасибо,— отказалась я. И добавила: — Я не одна.

Я сказала так только для того, чтобы он не обиделся,— у женщины всегда возникает потребность утешить мужчину, которому она отказывает в знакомстве,— но едва я произнесла эти слова, как мне стало ясно, что на самом-то деле я приехала сюда вовсе не затем, чтобы сбежать от тебя, как мне казалось раньше, а, наоборот, чтобы почувствовать себя ближе к тебе и преодолеть разделявшее нас расстояние. Когда мы бывали вместе, мне было не пробиться сквозь броню твоего сарказма, зато в одиночестве я могла беспрепятственно упиваться романтическими страданиями. До сих пор не понимаю, почему люди считают молодость временем беззаботной свободы и радости. Наверное, это оттого, что они уже забыли, какой была их собственная молодость. Сейчас, когда меня окружают все эти скорбящие молодые люди, я лишь благодарю судьбу, что, кажется, навсегда (я ведь больше не верю в посмертные перерождения) сбросила с себя бремя нестерпимых мук юности.

Я заранее предупредила тебя, что уеду на три дня, но мне

оказалось не под силу так долго противостоять напору своей неукротимой фантазии. Не думать о тебе я не могла, и ты постепенно заполнял собой вакуум Сейлема. Я знала, что это твои волосы покоятся в сердцевине массивного черно-золотого «*memento mori*» во втором ряду брошек. Я знала, что это твое еле слышное дыхание доносится сквозь спазматические всхлипы батареи из пустого гостиничного номера слева от моего. К счастью, в тот день был поезд до Бостона; я села на него и помчалась назад, из будущего в настоящее.

Я позвонила тебе прямо с вокзала. Весть о моем возвращении ты принял с присущим тебе фатализмом, не выразив ни восторга, ни удивления. Предполагалось, что в мое отсутствие ты будешь штудировать Теннисона\*, выискивая скрытый подтекст в его «Замке Локсли», но, как ты не замедлил мне сообщить, в этой поэме ничего подобного не было и в помине. В те годы все очень увлекались скрытым подтекстом. Итак, вместо поисков подтекста мы отправились гулять. В Бостоне уже потеплело, и снег под ногами расплзался как каша; мы дошли до берега Чарльза, принялись лепить снежки и швыряли их в воду. Потом соорудили мокрую статую королевы Виктории — все как надо: выпирающий бюст, монументальный турнюр, крючковатый нос — и долго бомбили ее снежками и кусками льда, то и дело заходясь смехом, который в ту пору я назвала бы самозабвенным, а сейчас — истерическим.

А потом, а потом... Что же на мне было тогда надето? Естественно, мое черное пальто, твидовая юбка, но не серая, а такого блеклого зеленоватого цвета, и все тот же свитер с прожженной дыркой. Переплетя озябшие пальцы, мы держались за руки и вместе ковыляли по крошеву льда вдоль реки. Был вечер, и стало холоднее. Время от времени мы останавливались и, чтобы согреться, прыгали с ноги на ногу и целовались. В черной маслянистой воде Чарльза отражались, словно мираж, башни и колокольни, откуда, как бывало каждый год, через несколько месяцев будут

\* Альфред Теннисон (1809—1892) — английский поэт.

бросаться вниз головой неудачники, провалившиеся на весенней сессии, а в мутных глубинах реки плавали тени самоубийц-писателей — среди них и тень Фолкнера, — обросшие кристаллами слов и сверкающие, как глаза. Но мы были беспечны и, дерзко насмехаясь над ними, распевали нестройным дуэтом:

Стол и стул, огарок свечки,  
Треснувший кувшин у печки...

Ты впервые при мне смеялся. И я отвергла мой тщательно разработанный сценарий с его трагическим эпилогом. Будущее открылось предо мной, как необозримый простор, многообещающее и опасное, — выбирай любой путь! У меня было такое ощущение, будто я иду по самому краю высокого моста. Нам обоим — по крайней мере мне — казалось, что мы по-настоящему счастливы.

Когда холод совсем одолел нас и ты начал чихать, мы зашли в один из тех дешевых ресторанчиков, где, по слухам, можно было хоть всю жизнь бесплатно подкармливаться стоящими на каждом столе кетчупом, маринованной свеклой и сахаром и, если никто не смотрит, пить сливки из фарфоровых молочников. Там мы обсудили, целесообразно ли нам спать вместе, взвесили все «за» и «против», после чего сразу перешли к вопросу «где и когда». Эта проблема решалась очень непросто, особенно для аспиранток: считалось, что девушки-аспирантки обязаны целиком отдавать себя науке и вести по-монашески аскетичную жизнь. Собственно говоря, в тогдашней полумонастырской атмосфере университета аспиранткам было трудно рассчитывать на что-нибудь другое, потому что их коллеги мужского пола ходили в театр в основном своими небольшими компаниями и посидеть за бутылкой хереса приглашали тоже только друг друга. Мы оба жили в общежитии, у нас обоих было в комнате еще по одному человеку, наши соседи вечно торчали дома, грызли ногти и сочиняли библиографию для своих диссертаций. Ни у тебя, ни у меня не было машины, и мы не сомневались, что ни в одну местную гостиницу нас вдвоем не пустят.

Нужно было искать условия не в Бостоне. И мы решили, что лучше встретиться в Нью-Йорке, в пасхальные каникулы.

За день до отъезда я пошла в подвал «Файлина» и после некоторых колебаний купила красную нейлоновую ночную рубашку фасона «пупсик». Она была мне велика всего на один размер, а оторванную бретельку можно было легко пришить. Меня очень подмывало купить еще одну рубашку — розовато-лиловую, с оборками à la Кармен, но во-первых, никто не напяливает на себя сразу две ночные рубашки, а во-вторых, денег у меня было в обрез. В страстную пятницу я села на автобус и поехала в Нью-Йорк. Ты уехал несколькими днями раньше, а мне пришлось задержаться: я должна была дописать просроченное эссе по роману миссис Редклифф «Итальянец». За тобой тоже числились целых три несданных работы, но к тому времени тебе, похоже, было уже на все наплевать. Ты по несколько раз в день запирался в ванной и принимал душ, что очень раздражало твоего соседа, а кроме того, по ночам тебя мучили долгие, кошмарные сны. Насколько мне помнится, тебе снились слоны, крокодилы и другие крупные животные, съезжавшие с гор в больничных креслах-каталках; еще тебе снилось, как людей приколачивают гвоздями к крестам и сжигают. Я считала, что все это лишний раз доказывает, какая у тебя тонкая натура.

Наш план предусматривал, что в Нью-Йорке ты остановишься у одного твоего старого друга-земляка, а я сниму отдельный номер в гостинице. Мы надеялись, что такой вариант никого не насторожит и к тому же обойдется дешевле.

До того времени я не была в Нью-Йорке ни разу и ничего подобного не ожидала. В первые минуты у меня голова пошла кругом. Я стояла посреди автовокзала в своем длинном черном пальто, держала тяжеленный чемодан и бездонную сумку и искала глазами телефонную будку. Толпа бурлила, как на политической демонстрации, хотя в ту пору мне еще не с чем было сравнивать. Женщины толкали друг друга локтями, волокли за собой орущих детей и отрывисто

выкрикивали оскорбления, будто скандировали лозунги; на скамейках сидели неряшливые, плохо одетые старики, пол был усеян комочками жевательной резинки, бумажками от конфет и окурками. Сейчас я не уверена, но, по-моему, кое-где стояли игральные автоматы — так ли? Я уже жалела, что не попросила тебя прийти меня встретить, но в те годы мы слишком гордились своей независимостью и о подобной просьбе не могло быть и речи.

Когда я двинулась туда, где по моим предположениям был выход, какой-то негр схватил мой чемодан и потянул его на себя. На лбу у него была свежая кровоточащая ссадина, а в глазах светилось такое отчаяние, что я чуть было не уступила. Через секунду я поняла, что он вовсе не собирается меня ограбить, просто хочет поднести чемодан до такси.

— Нет, нет, спасибо,— сказала я.— Нету денег.

Он с презрением покосился на мое пальто — как-никак отличного качества — и снова потянул чемодан на себя. Тогда я с силой дернула ручку в свою сторону, и негр сдался. Глядя мне вслед, он что-то прокричал, но я не поняла: такие выражения еще не стали общепринятой разменной монетой.

Адрес гостиницы я знала, но не знала, как туда добраться. Я пошла пешком. День был солнечный, и я обливалась потом — и от страха, и от жары. Наконец мне попалась телефонная будка: аппарат был распотрошен, и из него торчали спутанные провода. В следующей будке телефон работал, но когда я позвонила тебе, никто не ответил. А ведь ты знал, в котором часу я приеду.

Я прислонилась к будке и сделала над собой усилие, чтобы не удариться в панику. Планировка Нью-Йорка похожа на решетку, и я надеялась, что по табличкам с номерами «стрит» и «авеню» сумею вычислить местонахождение моей гостиницы. Спрашивать дорогу мне ни у кого не хотелось: когда я вижу на лицах тупое отчаяние или неприкрытую злобу, мне становится тревожно, а я и так уже прошла мимо нескольких людей, которые громко разговаривали сами с собой. Нью-Йорк, как и Сейлем, похоже, был готов вот-вот

рухнуть. Богатый человек, вероятно, усмотрел бы в этом предпосылки потенциального расцвета градостроительства, я же, глядя на эти полуобвалившиеся дома и разбитый асфальт тротуаров, особого оптимизма не испытывала.

Взяв курс на гостиницу, я медленно плелась с чемоданом и останавливалась у каждого автомата, чтобы набрать твой номер. В одной из телефонных будок я случайно оставила твой экземпляр «Школы Генри Адамса»\*. Оно и к лучшему, потому что это была единственная твоя вещь, хранившаяся у меня; было бы совсем некстати, если бы она потом напоминала мне о тебе.

В гостинице портье принял меня с не меньшим подозрением, чем его сейлемский коллега. В Сейлеме я отнесла эту подозрительность за счет провинциальной ксенофобии, но в Нью-Йорке мне впервые пришло в голову, что, может быть, виной всему мой вид. В балахоне с длинными рукавами, закрывавшими пальцы, я вряд ли производила впечатление дамы со средствами.

Я сидела у себя в номере, весьма похожем на сейлемский, и недоумевала, что же с тобой случилось, куда ты запропастился. Я звонила тебе каждые полчаса. Скоротать ожидание мне было практически нечем. Я вытащила из чемодана красную ночную рубашку с оторванной бретелькой, но обнаружила, что не захватила ни иголки, ни нитки; более того, у меня не было с собой даже английской булавки. Мне хотелось полежать в ванне, но замок входной двери изнутри не защелкивался, и, хотя я закрылась на цепочку, рисковать было страшновато. Я даже не сняла пальто. У меня уже начала мелькать мысль, что ты дал мне не тот телефон или — еще хуже — что ты вообще существуешь только в моем воображении.

Наконец около семи часов вечера на том конце провода кто-то снял трубку. Это была женщина. Когда я попросила позвать тебя, она засмеялась, довольно неприязненно.

\* «Школа Генри Адамса» — автобиографический роман известного американского писателя и публициста Генри Брукса Адамса (1838—1918).



— Эй, рыцарь печального образа! — крикнула она куда-то в сторону. — Подойди. Это тебя. Какая-то девица.

Когда ты подошел к телефону, голос у тебя звучал еще более отстраненно, чем обычно.

— Где ты был? — спросила я, стараясь не походить на сварливую жену. — Я тебе звоню с половины третьего.

— Это все из-за моей приятельницы, — сказал ты. — Она утром проглотила целый пузырек снотворного. Пришлось полдня таскать ее по улице, чтобы очухалась.

— А-а, — сказала я. Мне почему-то казалось, что друг, у которого ты собирался остановиться, мужчина. — Ты что же, не мог отвезти ее в больницу? Или вызвать врача?

— В больницу — это крайняя мера.

— Почему она это сделала? — спросила я.

— Бог ее знает. — У тебя был голос человека, недовольного, что его впутали в неприятную историю, пусть даже почти не имеющую к нему отношения. — Наверно, не могла придумать ничего интереснее. — В глубине трубки женщина выкрикнула что-то вроде «сволочь!».

Я похолодела, у меня отнялись ноги. Внезапно я поняла, что эта женщина вовсе не просто старый друг, как ты мне говорил. Она раньше была твоей любовницей и до сих пор тебя любит, у нее это серьезно, она наглоталась таблеток, потому что узнала, что сегодня должна приехать я, и попыталась удержать тебя. Меж тем ты спокойно записывал номер моей комнаты и номер телефона, а я так же спокойно все это тебе диктовала. Мы условились встретиться завтра. Эту ночь я пролежала на кровати в пальто.

На следующий день ты, естественно, не пришел, но у меня хватило ума больше не звонить тебе. В Бостон ты так и не вернулся. В мае я получила от тебя загадочное послание на открытке с видом набережной Атлантик-Сити:

«Хотел наняться матросом, но не взяли: сказали, что во флоте не нужны специалисты по античности. Устроился официантом в одну забегаловку — пришлось соврать, что неграмотный. Все равно это лучше, чем броситься с колокольни. Привет Кормонделу. Твой навеки Йонги-Бонги-Бо».

Мне снова было непонятно, ты это всерьез или, как всегда, издеваешься надо мной.

Да, конечно, я очень переживала, но не столько из-за твоего исчезновения — теперь-то я понимаю, что к этому давно шло, — сколько из-за того, что ты исчез так внезапно. Ты отнял у меня ту последнюю кульминационную сцену, о которой я мечтала, — не было ни садовой скамейки, ни легкого весеннего ветра, ни длинного двубортного пальто с поясом и накладными карманами (мне так и не было суждено купить его), ни твоего удаляющегося силуэта. И я продолжала страдать, даже когда поняла, что, останься мы вместе, будущее уготовило бы нам отнюдь не кошмарные своей банальностью загородный коттедж и жужжание электробритвы и уж никак не те расплывчатые радужные перспективы, что однажды пригрезились мне на берегу Чарльза, а лишь неизбежный, как рефрен в куплетах, пустой пузырек из-под снотворного, и еще неизвестно, удалось ли бы тебе протаскать меня по улице столько, чтобы я очухалась.

Ты исчез не так, как я себе это рисовала, и потому мне стало казаться, что ты не исчезал вовсе. Твое незримое присутствие висело в воздухе, как миазмы, как запах мышей, и ощущение того, что ты со своей неизменной желчностью постоянно комментируешь мое поведение, грозило подорвать мои попытки перестроиться на оптимистический лад — а я довольно скоро начала предпринимать такие попытки, просто из страха, что окончательно захирею. Мне чудилось, что мы с тобой что-то вроде сиамских близнецов или пары медиумов, связанных зловещим таинством телепатии: что бы я ни делала, я каждый раз подсознательно догадывалась, какую это вызовет у тебя реакцию. Когда состоялась моя помолвка (семь месяцев спустя, с архитектором, который проектировал и продолжает проектировать многоквартирные жилые дома), ты дал мне понять, что я обманула твои ожидания. Моя свадьба — да-да, все было очень традиционно, включая белое платье, — наполнила тебя величайшим презрением. Я так и видела, как ты пренебрежительно взираешь на меня из своей жалкой комнатенки, где

тебя окружают пустые консервные банки и заношенные носки, где ты живешь, поддерживаемый лишь собственной иронией и отказом продаться, как это со всей очевидностью сделала я. (Продаться? Кому? Чему? В отличие от последующих поколений, мы не были наделены способностью четко определять врага.)

На тебя не произвели никакого впечатления ни двое моих детей, ни научные достижения, которых я впоследствии добилась. Я стала довольно авторитетным специалистом по так называемым «домашним писательницам» XIX века. Когда я вышла замуж, то обнаружила, что творчество этих женщин гораздо ближе мне, чем готические романы; думаю, такая трезвая самооценка доказывает мою зрелость — знаю, как тебе претит это слово. Из тех, о ком я пишу, наиболее известна миссис Гаскел, но ты мог слышать и про миссис Риддел: она публиковалась также под псевдонимом Ф. Г. Трефорд. По ее «Джорджу Гейту из Фен-Корта» я сделала очень пристойный доклад, позднее напечатанный в одном солидном филологическом журнале. Излишне говорить, что я занимаю штатную должность: наша кафедра долгие годы избегала брать женщин в штат, но недавно под нажимом общественного мнения ей пришлось изменить свою политику. Так что я теперь своего рода символ, о чем ты не устаетшь мне напоминать. И одеваюсь я хорошо, как и подобает символу. По мере того как я богатели, вызывающе унылые и вызывающе шерстяные вещи, которые ты, может быть, помнишь, незаметно переселялись в железные ящики фонда Армии спасения, теперь у меня вместо всех этих свитеров и юбок целая коллекция достаточно элегантных брючных костюмов и строгих платьев. Мои коллеги-мужчины считают меня очень деловой и довольно холодной женщиной. Я больше не завожу легкомысленных романов, потому что терпеть не могу потом о них вспоминать. Ни одно мое пальто больше не хлопает на ветру, как парус, и когда я выступаю на научных конференциях, никто на меня не пялится.

Последний раз я виделась с тобой именно на одной из таких конференций, на самой крупной и главной из них —

ежегодная ярмарка, где плоть и интеллект продаются оптом и в розницу. В тот год конференция проходила в Нью-Йорке — забавное совпадение. Когда я увидела твою фамилию в списке докладчиков, я подумала, что это твой однофамилец. Но это был ты, и ты проговорил все утреннее заседание, дискутируя сам с собой, был Джон Китс болен сифилисом или нет. Ты основательно изучил сферу применения ртути в лечебных целях в начале века, и заключительная часть твоего доклада была шедевром неубедительности. Ты прибавил в весе, более того, у тебя был вполне здоровый вид, ты выглядел как человек, регулярно играющий в гольф. И я напрасно следила за тобой весь доклад: на твоём каменном лице не мелькнуло и намёка на прежнюю саркастическую улыбку.

После заседания я подошла к тебе поздравить. Увидев меня, ты удивился: ты и не думал, что у меня все так сложится, сказал ты и, как мне показалось, с испугом оглядел мою сделанную в салоне красоты причёску, мой безукоризненно соответствующий размеру костюм спортивного покроя и мои модные высокие сапоги. Ты сказал, что женат, и, поспешно вытащив из бумажника фотографии троих детей, выставил их перед собой как амулет, отводящий порчу. Я в ответ предъявила аналогичные фотографии из своей сумочки. Ни ты, ни я не предложили пойти куда-нибудь посидеть. Просто пожелали друг другу всего доброго и разошлись: мы оба были разочарованы. Теперь я, конечно, понимаю, что, по твоим представлениям, мне надлежало умереть в девичестве от чахотки или какой-нибудь другой, не менее «оперной» болезни. Ведь в глубине души ты тоже был романтиком.

Казалось бы, на этом все должно и кончиться, но не тут-то было, хотя я совершенно не понимаю, почему так. Я действительно люблю мужа и детей. И я не только присутствую на факультетских советах, где во время обсуждения учебных программ вышиваю на пальцах, но ещё и готовлю дома вкусные, питательные блюда, устраиваю детям дни рождения и даже сама выпекаю хлеб и солю огурцы. Мой муж восхи-

щается моими успехами, и когда — все реже — у меня бывают, как это принято теперь называть, периоды депрессии, очень меня поддерживает. Что касается секса, то в этом отношении моя жизнь вполне насыщена и полнокровна — так и слышу, как ты язвительно подсмеиваешься над этими формулировками, но сколько бы ты ни язвил, моя сексуальная жизнь все равно насыщена и полнокровна. И вообще, сам ты тоже недалеко от меня ушел.

Но когда я вернулась с конференции домой — живу я не в загородном коттедже, а в двухэтажном колониальном особняке, где с тех пор, как я туда переехала, ты поселился в погребе, — ты снова был со мной. Я надеялась, что ты развеешься, как наваждение, растаешь, как изгнанный шаманом злой дух: ведь ты обрел физическую реальность, ты женат и в бумажнике у тебя трое детей, а обыденность — лучшее противоядие от неразделенной любви. Но оказывается, всего этого мало. И вот ты снова передо мной, там же, где обычно, в погребе, справа от лестницы, за полкой, на которой я держу банки с домашними соленьями; пыльный и чопорный, как томик Джереми Бентама\* в книжном шкафу, ты стоишь и смотришь на меня с таким видом, словно это из-за меня все так, словно это я виновата. Неужели ты и вправду хотел бы все это вернуть: эту нищету, эти ветшающие дома, это обманчиво соблазнительное чувство безысходности, эту пустоту, этот страх? Неужели ты и вправду хотел бы навсегда увязнуть в слякоти бостонских улочек? Просто тебе надо было тогда вести себя умнее. Все равно бы это плохо кончилось, пытаюсь я втолковать тебе, ведь все было совсем не так, как тебе сейчас вспоминается, ты же себя обманываешь — но ты не желаешь смириться. Прощай, говорю я и жду, что ты взглянешь на меня в ответ с задумчивой грустью. Тебе сейчас самое время повернуться, пройти мимо труб парового отопления, шагнуть в бойлерную и исчезнуть за моей автоматической стиральной машиной — но ты не двигаешься с места.

\* Джереми Бентам (1748—1832) — английский публицист, философ и социолог.

# Ив Терио

## Остров-невидимка

Она сказала:

— Когда же я догадаюсь, про что он говорит?

Она часто повторяла эти слова. И твердила их тайком про себя, не очень надеясь, что догадается. А ее муж в это время плавал в море. Далеко в море, потому что он был рыбаком. Так далеко он уплывал, что с островерхой макушки самого высокого мыса нельзя было разглядеть его катер, и сильный бинокль не помогал.

Вот почему она, его жена, могла разговаривать сама с собой и даже вести этот разговор вслух, не боясь, что ее кто-нибудь услышит. Когда твой дом стоит на берегу пустынного залива, где живут лишь чайки, морские выдры и зайцы да иногда высоко в небе пролетает ястреб, когда вот эта пустыня и есть весь твой мир, легко привыкаешь произносить длинные монологи, не обращаясь ни к кому. Стоит ли беспокоиться, слышат тебя или нет...

Итак:

— Когда же я догадаюсь, про что он говорит?

Но эта привычка появилась у нее позднее, после свадьбы, вернее, не сразу после свадьбы, и я забежал вперед, начав таким образом свой рассказ. Моя поспешность вызвана чисто профессиональными соображениями. Рассказчик обязан заготовить рамку для своего повествования и произнести таинственно: «Жили некогда».

Так вот, я говорю: «Жили некогда далеко, далеко на северном побережье женщина и мужчина...»

(К этому побережью я, кажется, прирос душой и телом, я не представляю, как можно существовать вдали от этих

мест, где корабли огибают высокие пустынные мысы и, свернув курс по створным знакам, плывут к безмолвным заливам и неоглядным просторам, что лежат за ними. Прирос потому, что люди здесь одного со мной склада, а земля подходит моим ногам. И еще потому, что здесь перед моими глазами проходят человеческие жизни, сроднившиеся с этими гордыми одинокими скалами. Все мне тут по душе, все в радость. Кто станет бранить меня за то, что возвращаюсь сюда так часто и увлекаю за собой тех, кто меня читает?)

Итак, жили некогда, как говорится в преданиях северного побережья, женщина и мужчина. Но «некогда», о котором я говорю, вовсе не относится ко времени преданий; это наше вчера, разграниченное на дни и месяцы. Женщина и мужчина жили вместе и не понимали друг друга... Вот о чем я хочу рассказать.

Женщину я назову Фелисите (Счастливица). Ее, впрочем, действительно звали Фелисите. (Бывают такие странные совпадения.)

А ее мужа я назову Жозель, родом он из Бретани, но его отец уже жил в этих местах, и Жозель гордился своим заливом и побережьем. Гордился, что честно владеет куском земли, хорошо защищенной гаванью, где можно поставить на якорь катер, и пользуется уважением скупщиков трески, трижды в год приезжавших к нему за рыбой.

Рассказ о жизни двух человеческих существ. Девушка на выданье в большой семье, разумеется, красивая, неглупая, девушка тоненькая и влекущая, готовая любить всем сердцем. Бедность и безлюдье — к Гавру Сент-Пьер, где она живет, еще не подвели железную дорогу, и в поселке нет даже церкви. Когда приплывает рыбак, молодой и крепкий, сговориться нетрудно. У рыбака есть катер, одет он добротно, и по лицу видно, что ест он досыта. У родителей Фелисите тут же появилась мысль выдать дочь замуж. Фелисите, надо сказать, не противилась. Жозель ходил размашистым шагом, в нем чувствовалась сила, у него было приятное лицо, и так как говорил он мало, а судил здраво

и справедливо, можно было рассчитывать, что он будет хорошим мужем.

Час за часом целых три дня вся семья обхаживала гостя, пока он не попался в сети. (Жоэль пришел к ним вовсе не потому, что собирался жениться, но оставаться холостяком он тоже не собирался. Помолвка состоялась, и Жоэль отправился домой.)

Наверное, я пропускаю самое интересное, но когда рассказываешь о том, что легко предвидеть, не хочется сразу открывать карты. Что же касается непредвиденного...

Непредвиденное случилось позднее. Когда в обыденную жизнь побережья ворвалось нечто ей не подвластное. (Можно быть поэтом, не зная, что ты поэт, но если знаешь, осторожности ради лучше никому об этом не рассказывать. С особенным недоверием относятся на побережье к тем, кто видит что-то, не доступное глазам других, к тем, кто сходит с проторенной дороги и ищет свою собственную.)

Все это я говорю о Жоэле.

Вернемся, однако, к нашему рассказу: первые два года совместной жизни ушли на то, чтобы узнать друг друга и самих себя, согласовать свои привычки, научиться уступать, что не всегда давалось им легко, но так или иначе они справились.

Жоэль ел мелкую рыбешку руками. Его воспитывали иначе, чем Фелисите.

— Почему ты ешь руками?

— Так удобнее.

Гримаса недовольства:

— Удобнее!

— Да.

— Нельзя есть руками!

Преппирательство кончалось ссорой. Сначала это были пустяковые стычки: бранные слова, ребяческие вспышки гнева и примирение. Неизбежное.

Самое худшее началось позднее и вовсе не так, как это обычно начинается. (Случайные ссоры, слова, о которых



потом жалеешь. Главное, слова: они порождают глухую обиду и спустя долгое время вновь оживают как упреки, а упреки раздувают пламя и подливают масло. Разногласия приводят к настоящим ссорам, пропасть углубляется. Тут уж ничем не поможешь...) У них не возникало серьезных разногласий, скорее, им мешало непонимание.

Жозель с его странными мечтами, такой не похожий на других...

Но я хочу рассказать все, что знаю о Фелисите. Дочь человека состоятельного, работающего, она вступила в жизнь во всеоружии. Она даже училась в школе! Но из пастушки не сделаешь принцессу, если пастушке всего милее ее овечки. Поэтому школа не оставила неизгладимого следа в жизни Фелисите. У нее была достаточно цепкая память, чтобы получать хорошие отметки, и недостаточно восприимчивая душа, чтобы сохранить то, чему ее научили. За исключением катехизиса и других начатков школьной премудрости. А также хорошей орфографии без малейшего представления о правилах правописания. И умения кое-как считать. Одним словом, о настоящем образовании говорить, конечно, не приходится. Окончив школу, Фелисите вернулась домой, и родители поняли, что пришла пора подыскать ей мужа: она ловко управлялась у плиты, самоотверженно убирала и готовила, источала материнскую нежность и жаждала любви.

Фелисите понадобилось два года, два первых года совместной жизни, чтобы в конце концов полюбить Жозеля, а не его любовь, и ровно столько же, чтобы сделать важное открытие: она заметила, что часто не в силах следовать за мыслями мужа.

Я хочу пояснить свои слова, кто иначе поймет таких людей, как Жозель и Фелисите?

Я выберу для этого тот самый день, когда Фелисите сказала себе, что у нее в доме что-то идет не так. Верно, пошло не так, потому что в ту минуту она увидела в этом «не так» нечто новое. Позднее она вспомнила, что Жозель и раньше говорил что-то, чего она не понимала, но тогда

она спокойно пропускала его слова мимо ушей. Сейчас они всплыли у нее в памяти.

Жоэль ходил на катере в море и ловил рыбу. Иногда недалеко от побережья, тогда он каждый вечер вставал на якорь у своего дома. Иногда далеко, в открытое море, как говорят рыбаки, на расстояние дневного перехода, тогда он возвращался домой дня через три. Он преследовал замеченную рыбу или находил другую, от этого зависел срок его плавания. Рыбаки разбираются в таких вещах, я — нет.

А иногда он уплывал совсем далеко. Он плыл три, четыре дня, побережье пропадало из вида, а он все плыл и плыл. Он доплывал до выхода из залива, ходил между островами Мадлены и Принца Эдуарда. Дело не в маршруте, расстояние — вот что главное.

Однажды, через шесть месяцев после женитьбы, когда еще стояла прекрасная октябрьская погода — бабье лето, как говорят в Европе, или дикое лето, как говорят в Канаде... (В эти дни природа будто собирается с силами, прежде чем броситься очертя голову навстречу зиме.) Так вот, однажды Жоэль сказал, что уходит в открытое море на три дня, а приплыл назад через семь.

Когда Жоэль вернулся, Фелисите спросила, почему он так задержался. Тревога измучила ее, она побледнела, она извелась от тоски.

— Я искал остров,— сказал Жоэль.

Фелисите не услышала его слов, она расспрашивала об улове, о здоровье, о будничных мелочах — Фелисите задавала, так сказать, обычные вопросы. Она просто не поняла, что он сказал.

Жоэль отвечал, но про остров больше не заговаривал.

Прошло еще немного времени, боюсь сказать, сколько именно (я рассказываю по памяти то, что узнал от третьего лица, оказавшегося, как нередко бывает в таких случаях, связующим звеном между мной и Жоэлем), прошел, ну, скажем, год после свадьбы, и, значит, уже наступила весна, когда Жоэль снова пустился по воле волн, как в минувшем

октябре. Наверное, это произошло в июне, потому что по утрам еще стояли холода, а в полдень уже было тепло. Настолько тепло, что можно было выйти из дома без теплой одежды. На побережье обычно так и бывает в июне, скорее, правда, в конце, чем в начале, вот почему я повторяю: это произошло через год после свадьбы или примерно через год.

Жозель снова заговорил об острове, но его слова и в этот раз упали на неблагоприятную почву. Жозель сидел на причале и болтал ногами, наслаждаясь погожим днем. Утром ему предстояло выйти в море. Фелисите подошла и села рядом. В своем веселеньком ситцевом платье она казалась совсем тоненькой. С ребенком они единодушно решили подождать. По крайней мере до будущего года. Белокурая и тоненькая, как тростинка, была она тоненькая, но гибкая и сильная. Глядя на нее, никто бы не догадался, какая она сильная.

— Куда поплывешь завтра? — спросила она.

Жозель махнул рукой в открытое море.

— Погода стоит хорошая. Хочу попытать счастья подалее от берега. Переменится погода, вернусь.— До этой минуты все шло как по маслу. Но Жозель добавил: — Надо все-таки отыскать этот остров.

И Фелисите вдруг проявила интерес:

— Что за остров?

— Остров-невидимку.

Она расхохоталась:

— Невидимку?

Она покатилась со смеху. Потом поднялась одним грациозным движением.

— У меня еще полно глазки.

Она шла к дому и повторяла вслух слова Жозеля, будто слышала веселую шутку:

— Остров-невидимка!

Вот видите, что получается, когда словам не уделяют должного внимания, когда они пропадают втуне, не пробудив даже любопытства. Фелисите следовало расспросить

Жоэля. Жоэль, видимо, попытался приоткрыть ей душу и произнес эти первые слова, чтобы Фелисите помогла ему произнести следующие. Я говорю то, что узнал от человека, рассказавшего мне историю Жоэля. Я уже плохо помню, что связывало его с Жозелем, знаю только, что Жозель вполне ему доверял. За это я ручаюсь, хотя бы потому, что могу объяснить, в чем тут дело. Рыбаки вроде Жоэля народ необщительный. Когда ловишь рыбу на маленьком катере, совсем один, поневоле становишься молчаливым. С кем разговаривать, с рыбами? Бесплодное занятие. Думаю, что Жозель часто разговаривал с ветром, с облаками. В таких разговорах, по крайней мере, есть прок. Когда ветер хочет ответить, он так странно вьется вокруг вас. Ощущение стоит того, чтобы его испытать. Но для этого нужно оказаться там, где ветер гуляет на свободе. Испачкавшись о заводские трубы, о крыши городских домов, он становится иным. Городской ветер, скажу я вам, несет с собой не очень аппетитные запахи. Такой ветер малопривлекательный спутник. Не говоря про пыль. На побережье ветер совсем особенный. Прежде всего, искупавшись в море, он пропитывается запахом водорослей, и это уже хорошо. Он пахнет солью, а это еще лучше, и у него вкус соли, что уже замечательно. Если ветер пробегает по лесу, он к тому же несет с собой запах ельника. И конечно, подхватывает немного песка, но это чистый песок. Мелкие сухие песчинки, поднятые с земли. Они пахнут ржавчиной из-за крупинок железа. Вполне приятный запах. Самое главное, что это свежий ветер. В нем есть примеси, но его не назовешь грязным, как вы понимаете. С таким ветром, поверь, брат, можно поговорить. Ему можно признаться, что сделал глупость, и он ответит. А если есть хоть капелька желания, выучить язык ветра не труднее, чем «Отче наш» по-латыни. И говори тогда с ветром сколько хочешь.

Жоэль, разумеется, все это знал.

Потому-то он завел разговор об острове. Но не будем забегать вперед. Об острове я еще расскажу.

Вернемся лучше к Жозелю и Фелисите. Жозель завел раз-

говор об острове, а Фелисите рассмеялась. Итог первого года совместной жизни. Две попытки, обе неудачные, и все-таки едва наметившееся сближение. Фелисите, по крайней мере, захотелось понять мужа, почти захотелось. Но так как она потерпела неудачу, ей ничего не оставалось, как принять слова Жоэля за шутку. (Жоэль часто шутил, невозмутимо роняя одно-два слова, и это тоже могло сбить Фелисите с толку. Жоэль шутил с непроницаемым видом. Можно, конечно, сказать, что он сам виноват в недогадливости Фелисите. Но ей следовало проявить настойчивость. Некоторые слова не могут не заронить искру сомнения. Я уверен, что заговори Жоэль про остров в моем присутствии, я бы засыпал его вопросами. Тем более что еще перед свадьбой Жоэль как-то сказал: «Человек непременно должен отыскать какое-нибудь неведомое место, иначе не видать ему счастья», а потом повторил те же слова, когда был в Блан-Саблоне со скупщиками трески. Но и в первый раз, и потом, при скупщиках, он бросил свои слова на ветер, ветер их и унес. Правда, Фелисите причислила Жоэля к особой породе людей. Таким многое прощают, их ценят, но всегда помнят, что они из другого теста...)

Жоэль и Фелисите прожили вместе два года, прежде чем Жоэль снова заговорил об острове. На этот раз при совершенно других обстоятельствах. Жоэль опять вернулся домой с опозданием. Но если через шесть месяцев после свадьбы Фелисите тосковала и беспокоилась, ожидая мужа, то двух лет оказалось достаточно, чтобы ожидание пробудило в ней прежде всего гнев. И Жоэль почувствовал перемену, едва переступил порог дома. Фелисите встретила его градом упреков, она была вне себя от того, что Жоэль посмел так откровенно пренебречь своими обязанностями. Нет, не тревога была причиной ее возмущения, совсем другое: у нее не хватило дров, и ей пришлось самой пилить сваленные у сарая плахи. Добро бы еще колоть, из такого затруднения с честью выйдет любая женщина на побережье. Конечно, она с радостью предоставит эту работу мужу, но если понадобится, наколет дрова и слова не скажет. Другое

дело — оказаться без полена, самой пилить дрова, а потом еще колоть — это уже слишком! Четырехдневная задержка Жоэля обернулась, как видите, тяжким проступком.

А Жоэль с самым серьезным видом сказал:

— Я задержался из-за острова-невидимки...

Полная неожиданность, и на этот раз, скорее всего, истинная правда.

Но Фелисите была слишком обижена, чтобы удовлетвориться подобным объяснением. Скажи Жоэль, что заглох мотор, что случилась авария, а парус на мачте висел как тряпка, потому что не было попутного ветра, — это Фелисите могла бы понять. Непредвиденная остановка где-нибудь на побережье казалась ей маловероятной: соседи живут здесь далеко друг от друга, но Фелисите знала, сколько узлов делает катер, и понимала, что у Жоэля хватило бы времени добраться если не до одного, так до другого. А может быть, Жоэль пустился во все тяжкие и позарился на соседок? (Предположение нелепое из-за возраста женщин: одна втрое старше Жоэля, другая вдвое и к тому еще кривоногая. Для самого пылкого воображения тоже существует предел. Фелисите, надо сказать, не дает воли этим назойливым мыслям, в глубине души она уверена, что женщины неповинны в таинственных исчезновениях Жоэля и вряд ли когда-нибудь будут повинны...)

— Что это еще за остров-невидимка? — с негодованием набрасывается она на мужа. — Говори как человек!

Жоэль не торопится с ответом. Он умеет выбрать подходящую минуту и понимает, что сейчас не время для разговоров. Он предпочитает подождать, пока гнев Фелисите обратится в злость, а злость в нетерпение. Прошло десять дней с тех пор, как они расстались. Когда молодые люди женаты всего два года, разлуки переносятся с трудом и встречи имеют свои священные законы.

Однажды после ужина, сидя за чашкой кофе, они уже снова могли разговаривать, потому что накануне Фелисите сменила гнев на милость, и тогда Жоэль ответил на ее вопрос.

— Остров-невидимка...— сказал он,— не так уж трудно понять, про что я говорю.

Фелисите исподлобья смотрит на мужа. Они построили добротный дом: простой и теплый, прочный и без затей. В их доме всегда уютно, даже если снаружи бушует ветер. Особенно вечером, особенно в такой вечер, когда жарко горят дрова и смолистые поленья пахнут жженым сахаром...

— Совсем обезумел!

— Благослови, господи, мое безумие... Когда я найду остров-невидимку, знаешь, что я увижу там, на острове?

— Дикарей, дикарей-людоедов!

Шутка показалась Жоэлю удачной, он рассмеялся, но язвительность Фелисите от него не ускользнула.

— Я увижу родник с прозрачной водой, вода в этом роднике никогда не иссякает, а растения на этом острове цветут круглый год. Рыба сама выбрасывается на песок, сама отрезает себе голову, сама солится и сама себя продает...

— Последний ум потерял, треска во хмелю, башка твоя дырявая! — И тут же всерьез: — Я правда боюсь за тебя.

Жоэль хохочет во все горло и делает еще одну попытку рассказать про остров:

— Самый красивый остров на свете, с самыми красивыми цветами, трава высотой с алтарь, на деревьях густая листва, в лесу растут дубы и прыгают рыжие белки. С неба льется музыка, и не бывает там ни осени, ни зимы.

— И остров этот здесь, у нас в заливе?

— Скорее всего здесь.

— Никогда его тебе не найти, можешь не беспокоиться.

Но Жоэлю надоело отшучиваться:

— Поживем — увидим. Ладисла Бошам, видно, нашел.

— Бошам? Да ведь он погиб в открытом море, когда в ноябре поднялся ветер.

— Мало ли что болтают, я сам слышал, как он говорил про остров-невидимку. Бошам нашел остров. И не он один. Многие уже давным-давно живут там и радуются... Люди в конце концов умирают, но на этом острове не знают смер-

ти, потому среди тамошних стариков некоторым уже по двести, по триста лет и даже больше...

У Фелисите лопается терпение:

— Скажешь ты мне или нет, откуда взялись эти бредни?

— Мало разве говорят про остров-невидимку, ты что ж, никогда не слышала?

— Нет, не слышала, стану я слушать детские сказки, за кого ты меня принимаешь!

Жоэль поглощен своей мечтой. Он не расстается с ней даже ночью. Ненадолго он забывает об острове, но потом все равно не спит, лежит в темноте и грезит.

«Остров потому называется невидимкой,— говорили старики,— что его закрывает густой туман. А рассеивается туман только для тех, кто того заслуживает».

Жоэль искал остров наперекор всем ветрам в заливе, наперекор всем рифам. Сто раз рисковал он форштевнем, натываясь на неожиданные мели, и говорил себе, что вот только обогнет мыс и сразу увидит зеленый манящий остров... Шесть дней он ловил рыбу, три дня искал остров... Это стало законом.

Жоэль снова ушел в море, мысль об острове не оставляла его ни на минуту. У него было десять карт залива, от самых древних до самых новых и самых сложных. Он обшаривал все отмели, оглядывал все выступающие из воды скалы. Что, если картографы вдруг поленились? Вот карта, на ней ясно видно, как поднимается отмель. Здесь она тянется на тысячу футов, там на восемьсот, семьсот, четыреста футов... Для опытного человека смотреть на эту карту — все равно что разглядывать дно залива собственными глазами. Но бывает, что отчетливо видишь, как поднимается отмель, а на карте не отмечен даже риф... На этом хрупком основании зиждилась надежда Жоэля найти остров-невидимку — заоблачная фантазия молодого рыбака. Поэтому он объехал все рифы, все островки, все цепочки островков и островочков, обозначенные на карте. За пятнадцать лет, потраченных на поиски острова-невидимки,— пятнадцать лет! — он побывал во всех уголках



залива, обозначенных на картах белым и черным цветом.

Но... он в самом деле искал остров?

Кто, кроме Жоэля, смог бы ответить на этот вопрос.

Когда мечта и неодолимая потребность мечтать сливаются воедино, что остается на долю действительности? Как знать, что на самом деле лучше: плавать по неоглядным морским просторам и находить великолепные стоянки или встречать на своем пути лишь голые каменистые острова и жить надеждой?

Даже сладчайший мед набивает оскомину, и самые прекрасные орхидеи остаются всего лишь цветами. Побродив в джунглях, кто не обрадуется, поднимаясь на лысые скалы?

Холодные моря, а в награду теплые лагуны у подветренных островов...

Или когда человек поглощен поисками,— когда поисками поглощен Жоэль, каждый день вновь опьяненный надеждой,— он в самом деле никогда не изменяет своей мечте, в самом деле сохраняет непоколебимое терпение, уверенность в своих силах и способность убедить себя, что он, наверное, просто не выполнил еще какое-то важное условие? Как некогда Ясон, отправившийся за золотым руном. Или ближе к нашим временам: как рыцари, давшие обет чистоты и посвятившие себя поискам чаши святого Грааля.

Что, если с Жоэлем происходило то же самое? Понимал ли он, когда снова и снова отправлялся в плаванье по незнакомым водам, что остров наверняка где-то рядом, что крутой бесплодный берег, усыпанный плоской галькой, вон там перед ним, быть может, и есть его остров, только обезображенный, замаскированный, измененный до неузнаваемости для глаз тех, чье сердце недостаточно чисто?

Но для чего? Как? Почему?

В тиши их общего дома, когда Фелисите вдруг становилась равнодушно-холодной и замыкалась в своем, недоступном Жоэлю мире, не задумывался ли он о чистоте собственных помыслов или, вернее, о каком-то невыпол-

ненном условии, без которого ему никогда не удастся ступить на берег острова-невидимки? Может быть, ему не хватало любви? Но к кому, к чему?

Так они прожили еще год и приблизились к трехлетию со дня свадьбы. Срок достаточный, чтобы прийти к согласию. Мы все знаем, как протекают эти годы прилагивания — более или менее трудные, более или менее плодотворные, но в любом случае необходимые.

Три года жизни по разные стороны пропасти, когда пропасть не уменьшается, а углубляется, это большой срок.

Разговоры Жоэля и Фелисите часто заходили в тупик. И всегда кончались обидой. Обидой или ничем, как постепенно затихшая музыка, как улетевший ветер, как прилив, сменившийся отливом. И в доме воцарялась тишина.

— Завтра уплываешь?

— Да...

— Надолго?

В ответ Жоэль всегда делает одно и то же. Если они сидят в комнате, он подходит к окну и смотрит, какая погода. Привычка моряка. Погода — его властительница. Жоэль бросает взгляд на небо, оценивает изгиб волн, направление ветра. Ему нужно на это секунд десять, не больше.

— Поплыву подальше в открытое море, — говорит Жоэль.

(Или поближе, в зависимости от того, что ему сказала небо, что сказала море...)

О чем еще говорить?

— Дров тебе хватит дней на пятнадцать, — говорит Жоэль, не забывший бурную сцену в первый год их жизни, когда Фелисите пришлось самой пилить бревна.

— Уплываешь, значит, на пятнадцать дней? — спрашивает Фелисите.

Жоэль отвечает невнятно. Может быть, он говорит да, хотя не произносит этого слова, а может быть, нет, хотя по его виду этого не скажешь. Честно говоря, он и сам не знает, все зависит от погоды. Он будет ловить рыбу — это его ремесло, — но, конечно, он будет искать. Только

об этом он больше не говорит Фелисите. К ним уже подкрадывается тишина. Пока они еще обмениваются ничего не значащими фразами о катере, запасах провизии, дровах, отлучках Жоэля. Нет, об отлучках они не разговаривают. Отлучки подразумеваются. Отлучки, как ни странно, постоянно присутствуют у них в доме. И эти необычные жильцы стоят стеной между Жоэлем и Фелисите. Фелисите хочется кричать: «Уезжай, но уезжай за рыбой, в самом деле за рыбой! Не заплывай в морские дали, незнакомые мне, незнакомые тебе, ради неведомых островов — их нет! Лови макрель, лови треску, ничего нам больше не нужно! Смотри хорошенько, только высматривай не сказочные берега, а отмели, богатые рыбой!»

Фелисите хочется кричать, но она не кричит. Она молчит, она не произносит ни слова. Фелисите погружается с головой в домашние дела, погружается, потому что находит в них свое маленькое счастье, как она говорит. В теплом мраке они вновь обретают друг друга, но это воссоединение лишилось имени, лишилось цели, кроме сиюминутной, оно почти утратило значение. Во всяком случае, для Фелисите.

И Жоэль уезжает.

Потом он наконец возвращается, живет дома посреди все разрастающегося молчания, пока не приходит день, когда он поднимает якорь и вновь уходит в море.

Такой домашний уклад, если он сохраняется длительное время, становится повседневной мукой, жизнь обращается в ад, и два человека, прикованные друг к другу, в конце концов теряют терпение и ожесточаются.

Кто в этом виноват? Фелисите?

Она была совсем маленькой, когда чудеса утратили для нее притягательную силу, она не верит ни в черных кошек, ни в небесные знамения, ни в заколдованные острова. Может быть, Жоэль должен был заново сочинить для нее волшебные сказки и тогда их очарование помогло бы ей перейти от безверия к вере?

Но Жоэль не сочиняет сказок. Он редко открывает

рот. И произносит только самые необходимые слова, когда возникают мелкие житейские затруднения. Да и появившись у него желание сочинить сказку, он бы не знал, как взяться за дело. А это уже трагедия.

Но самое худшее — разница в характерах между Жоэлем, моряком, способным разговаривать с ветром, поджидать сирен, и Фелисите, давно разгадавшей со всеми суевериями.

Если бы Фелисите могла поделиться с кем-нибудь своими тревогами в тот третий год своего замужества, когда вдоль фарватера их совместной жизни уже вытянулась длинная цепочка бакенов, все, конечно, пошло бы по-другому. Но с кем поговорить, когда живешь на краю света? Она видела за год трех-четыре человека, обычно скупщиков рыбы, и несколько катеров далеко в море, иногда бросавших якорь около их дома, потому что рыбакам что-то понадобилось или катер нуждался в ремонте. Вот и все. Если Жоэль был дома, мужчины разговаривали, а Фелисите стояла шагах в десяти от них и прислушивалась. Если Жоэля не было, она старалась не обронить больше двух десятков слов, чтобы случайные гости не усомнились в ее решимости держаться от них в стороне.

Что же ей оставалось делать?

Но иногда мы получаем совет довольно причудливым образом. На сей раз в роли советчика оказалась газета; к сожалению, человек, рассказавший мне эту историю, не сказал ни какая газета, ни как она попала к Фелисите. Может быть, газету забыл какой-то рыбак, а может быть, Жоэль подобрал ее где-нибудь на стоянке южнее их дома. Как знать? Вполне возможно, что это был журнал, но будем считать, что газета. Во всяком случае, печатное слово. Поэма. Фелисите, конечно, прочла ее всю от строчки до строчки. Это понятно.

Стихи Пьера Перро. Редкая удача, потому что никто лучше его не воспел наше море, никто, кроме него, не понял голос нашего моря и не услышал его нескончаемые упреки. Поэма Перро, где были такие строчки:

Когда все острова, и все ракушки,  
И все останки погибших в летних бурях кораблей,  
Превратились в значочки, в значочки на картах и в  
Фолиантах ученых мужей...  
Кто-то заметил, что остров-невидимка  
Исчез из наших маршрутных листов,  
А он все ждет шума шагов!

Представьте себе женщину, в жизни бы не подумавшую, что увидит когда-нибудь в строке, написанной поэтом, те самые слова, что произносил ее муж. Представьте себе, какое потрясение пережила она в ту минуту, как неотвязно эти слова завладели ее душой, ее разумом за ту неделю, что она ждала возвращения мужа. Представьте себе, что каким-то образом, с помощью магии слова, если хотите, до нее донесся некий властный зов, и так как она даже не подозревала, что в природе таятся подобные силы, этот незнакомый голос настолько поразил ее, что сама возможность существования острова-невидимки показалась ей вполне правдоподобной.

Значит, остров не просто выдумка Жоэля, мечта легковверного невежественного рыбака, значит, остров действительно существует, если поэт слагает о нем стихи?

Фелисите вынесла из школы не очень обременительный груз знаний, но уважать поэтов она научилась. Понимать, правда, нет. Впрочем, разве это так уж необходимо?

Разве недостаточно увидеть на бумаге красиво написанные слова, запечатленные навеки, не подвластные никому на свете, разве этого недостаточно, чтобы разбередить душу?

И быть может, в конце концов убедить?

На этот раз, когда Жоэль вернулся, Фелисите нашла слова. Новые слова. Нет, нет, она ничего не сказала ему ни о поэте, ни о поэме, ни об острове.

Но она говорила ласково. Она, если хотите, воскресила язык их любви. Она встретила его с нежностью. И Жоэль пылко откликнулся, иначе и быть не могло. Конечно, он удивился, но удивление не помешало ему оказаться на высоте.

Впрочем, еще сильнее он удивился однажды утром, когда снова настал день отъезда и он увидел, что Фелисите поднимается по трапу, волоча за собой вещевой мешок.

— Ты куда? — спросил Жоэль.

— Я с тобой, — сказала Фелисите и указала на мешок. — Я тоже хочу искать остров.

Конец этой истории, как мне ее рассказали, ничем не примечателен. Благоразумие и осторожность обычно мешают людям разузнавать, чем кончаются такие приключения.

Дом Жоэля все еще стоит в глубине залива. Но ветер и жестокая зимняя непогода превратили его в развалины. О доме нечего говорить.

Однажды утром Жоэль и Фелисите вдвоем ушли в море. Об этом событии узнало все побережье, потому что они встретились с Жаном-Леоном Вуароном из Блан-Саблона и приятели разговорились. Они проплыли рядом три кабельтовых по зеркальной глади залива, и Фелисите успела вставить свое слово. Это Фелисите сказала Вуарону, что они с Жоэлем отправились искать остров-невидимку.

Беда только, что они не вернулись в свою гавань и ни в какую другую тоже. Больше о них никто ничего не слышал.

И как раз в то время, когда они были в море, внезапно налетел шквал и весь залив точно встал на дыбы. Сам Вуарон и десяток других рыбаков едва спаслись от гибели.

Но старики, те, кто разговаривают с ветром и не всегда делятся доверенными им тайнами, говорят, что шквал налетает каждый раз, когда рыбак, чистый сердцем, находит остров-невидимку. Подтверждение, наверное, и знамение. И преграда, воздвигаемая на пути других, менее достойных, чтобы отвлечь их от поисков острова-невидимки. Потому что нет меры красоте его берегов и нет меры их ослепительному блеску, а прибрежные воды острова покойнее королевской дороги.

Только избранные имеют право ступить на этот остров. Избранные любви.

Те, кто приносит с собой не одно лишь желание насла-

даться безмятежной жизнью, но и любящие сердца. Так, во всяком случае, говорят старики. А что, как не любящие сердца, принесли на остров Жоэль и Фелисите!

Все это очень сложно.

Хотя некоторые рыбаки на берегах залива и люди с севера и с реки Наташкан и даже из Детройта уверены, что иначе и быть не может.

Наверное, это зависит от отношений между человеком и морем, между человеком и ветром.

# Жерар Бессет

## Горчичник

Старик захлопнул за собой дверь. Губы его тряслись от негодования. Морщинистое лицо покрывала нездоровая бледность. Он половчей устроил в руке трость и начал спускаться по лестнице. «Ну все, больше они меня не увидят». Каждую ступеньку ему приходилось на шаривать перед собой тростью, как ослепленному светом дня ночному насекомому. «Больше они меня не увидят. Уйду я от них». Конец их издевательствам, насмешкам над его советами, над его опытом восьмидесяти лет жизни. «Ни разу не надо было им уступать». Напрасны будут теперь их обещания, медоточивые слова. Ведь это они упростили его переехать к ним. («Вот увидите, вам у нас будет хорошо, спокойно. Мы приготовили вам чудесную просторную комнату. Вас никто не будет беспокоить».) «Лицемеры! Ясное дело, просто позарились на мою пенсию. Эх, если б Леон не привез после войны из Европы эту долговязую англичанку...» Старик никак не мог примириться с мыслью, что Ширли, эта чужестранка, которая и по-французски-то не говорит, — его невестка.

Вернувшись в Канаду, Леон, естественно, оказался без работы. Он никогда не отличался способностью устраиваться в жизни. Произведенный на войне в лейтенанты, он воображал, будто доходное местечко свалится ему прямо с неба. А в ожидании этого он, по его выражению, «нащупывал почву», подыскивал «что-нибудь получше, попрестижней...» Его сбережения растаяли раньше, чем он сумел что-либо найти. Тогда-то они с Ширли и насели на мсье Дено,

© Gérard Bessette, 1980.



чтобы он переехал к ним. И старик поддался. Вот уже пять лет, как они живут вместе. Леону в конце концов пришлось вернуться на прежнюю должность кассира в банке, и мсье Дено, и так вносивший в семейный бюджет изрядную сумму, тем не менее был вынужден всякий раз в конце месяца выгребать из кошелька последнюю мелочь, чтобы поддержать домашний корабль на плаву. Ширли не имела ни малейшего понятия об истинной цене денег и о разумном ведении хозяйства. Едва у нее заводилось несколько долларов, как она спускала их на всякую ерунду. «Ну и сгруппил же я!» Надо было ему расстаться с ними гораздо раньше, когда походка его была уверенней, а глаза не так плохи. «Что ж, лучше поздно, чем никогда».

Теперь старик продвигался по тротуару мелкими осторожными шажками, поводя перед собой тростью, как насекомое усиками, чтобы избежать коварных выбоин в асфальте. Падение обернулось бы катастрофой: он знал, что сам подняться не сможет. А поскольку в округе его все знают, его отведут назад домой или, что еще хуже, позовут Леона. За последние месяцы так бывало уже несколько раз. С недавних пор мсье Дено начал страдать забывчивостью, необъяснимыми головокружениями, о которых он никому не обмолвился ни словечком и при которых все вокруг него вдруг принималось ходить ходуном. «Надо будет как-нибудь собраться к врачу». Но эта мысль лишь промелькнула у него в голове. Сейчас у него хватало других забот. Ведь ему предстояло подыскать себе другое жилье, перевезти вещи, мебель. Тут губы старика скривились в усмешке: без его мебели квартира Леона примет до смешного нежилой вид. Мсье Дено представил себе озадаченную физиономию Ширли, когда та увидит опустевшие комнаты. И в самом деле, что у них останется? Кухонная плита, стол, три-четыре стула, кровать — вот, пожалуй, и все. А диван в гостиной? «Да, диван, конечно, придется оставить». На нем спал маленький Ришар. Диван мсье Дено забрать у них не мог, тем более что мальчуган занедужил. Собственно, как раз поэтому и... Старик с уси-

лием сглотнул слюну. Об этом сейчас ему думать не хотелось: трудности предпринятого похода, неровности тротуара поглощали все его внимание.

Мсье Дено добрался до улицы Шербрука, которая в этом месте показалась ему широкой, словно полноводная река. Сознание того, что сейчас ему предстоит выйти на проезжую часть, повергало его в трепет. На его изборожденном морщинами лбу выступили капли пота. Машины проносились мимо на бешеной скорости, оглушая ревом моторов и грохотом выхлопов. Он должен был преодолеть это огромное пространство без посторонней помощи, ориентируясь лишь по полустертым белым линиям, обозначающим переход. Сигналам светофора старик довериться не мог. Они представляли перед ним расплывчатыми, неясных очертаний шарами, сливающимися с неоновой рекламой аптекаря — та тоже светилась зеленым и красным. Во время своих ежедневных прогулок мсье Дено всегда избегал этого опасного перекрестка и отправлялся за два квартала отсюда, где островок безопасности давал ему возможность перейти дорогу в два приема. А если очередное головокружение накатит на него посреди улицы, что будет тогда? Во рту у него была противная сухость, в глазах — резь. Сегодня он не мог позволить себе сделать привычный крюк. Ему надо было беречь силы. «Конечно, я могу попросить помощи у любого прохожего». Но прибегать к этому ему было невыносимо. Это было бы равносильно признанию в слабости, в неспособности освободиться от опеки Леона и Ширли. Эта мысль придавала ему мужества. Он дождался, чтобы машины с поперечной улицы тронулись с места, и устремился на дорогу со всей доступной ему скоростью, вытянув перед собой трость.

Когда он перебрался на другую сторону, пот лил с него ручьями. В ушах глухо молотил пульс. Старик привалился спиной к витрине аптекаря, чтобы отдышаться, и лишь тогда спросил себя, куда он пойдет дальше. До сих пор он думал только об одном: бежать, бежать как можно

скорее. Теперь в голове его роились самые противоречивые мысли. Однако возобладало в этой сумятице одно: «Не здесь. Здесь я ничего не сумею решить». Ему нужно было найти себе какое-нибудь местечко, где можно сесть, отдохнуть, поразмыслить.

Он пустился в путь к улице Онтарио, из предосторожности притормаживая тростью, чтобы не разогнаться по идущему под уклон тротуару. «Куда же пойти?» В Шашечный клуб святого Эдуара, куда он захаживал иной раз встретиться со старыми приятелями? «Нет, если я пойду туда, придется взять чего-нибудь перекусить». Его начнут расспрашивать, особенно папаша Шартье, и он не удержится от того, чтобы не облегчить душу, не выложить друзьям подробности его ссоры с Леоном и Ширли. Папаша Шартье — тот тоже живет у сына. «Бедняга Шартье!» Мало того, что он ежемесячно выкладывает сынку всю свою пенсию до последнего цента, так еще и ведет себя тише воды, ниже травы, мучимый страхом, как бы его не сдали в приют для престарелых. «Да и я туда попаду, если не сумею подкупить немного деньжат». Нет, клуб отпадает. К тому же тамошних приятелей он больше не увидит. Надо круто менять жизнь, бесповоротно забыть прошлое. Но куда же направиться сейчас, пока он на перепутье? Может быть, в ресторан? Тоже не подходит. Есть ему не хотелось. В желудке стоял тугой комок. Кроме того, от чая и кофе у него учащалось сердцебиение, а газированная вода вызывала изжогу. Конечно, он мог сделать заказ и ни к чему не притронуться, но подобное расточительство шло вразрез с его многолетней привычкой к бережливости. Он столько раз выговаривал Леону и Ширли за мотовство, что уподобляться им ему не позволяла совесть.

Погруженный в такие размышления, он дошел до улицы Онтарио. Испарина вновь покрыла тело. Он обессилел, выдохся. Сделал еще несколько нетвердых шагов, и тут из вентиляционного зева на него сладко пахнуло солодом и дрожжами. Может быть, от стакана пива ему полегчает.

Голова казалась пустой, в ушах бухало — таким он вошел в пивную, по пути нечаянно толкнув какого-то типа, который невнятно выругался, и тяжело опустился на стул у грязно-белого столика. Наконец-то он сможет отдохнуть, пораскинуть мозгами. Конечно, пивная — не самое подходящее для этого место. Мсье Дено уже много лет не заглядывал в такие заведения. Когда-то давно его отец чаще, чем следовало, прикладывался к кружке, а в пятницу вечером приходил особенно изрядно нагрузившись и угрюмо огрызался в ответ на упреки жены... Каким все это сегодня стало далеким, незначительным. Теперь ему самому, мсье Дено, за восемьдесят, он вдовец и практически одинок, потому что Леон в счет не идет, а дочь, Адель, замужем за американцем и живет в Майами...

Старик отпил глоток пива. Некоторые уверяют, что оно полезно для здоровья. По словам папаши Шартье, пиво подхлестывает кровообращение. А разве его головокружения — не от нарушенного кровообращения? Мсье Дено читал что-то об этом в медицинской хронике. Тыльной стороной ладони он обтер усы. Он почувствовал себя бодрее. «Отец дожил до девяноста двух лет. И у него никогда не бывало головокружений. А ведь он ежедневно выпивал свою полудюжину». Но он отогнал эти мысли прочь. Не о здоровье сейчас речь. Решения требовала другая, более насущная проблема: найти жилье, перевезти вещи...

Вздохнув, старик затуманившимся взором оглядел зал. За соседним столиком двое разговаривали о скачках, потягивая пиво. Один из них выиграл накануне триста пятьдесят долларов и теперь ликовал. Другому не повезло. Обе лошади, на которых он поставил, пришли в хвосте. Манерой разговора этот второй напоминал Леона — тот точно так же растягивал слова. Мсье Дено сделал еще глоток, после которого обстоятельства, вынудившие его уйти, предстали перед ним со всей отчетливостью, хотя обычно в его памяти недавно происходившие события удерживались слабо — их словно размывало.

Драма — а это была именно драма — разыгралась, когда

заболел Ришар, его внук. И разве удивительно, что ребенок простудился? Сколько раз мсье Дено повторял Ширли, чтобы та не оставляла на всю ночь в комнате мальчика открытым окно. Она, разумеется, продолжала поступать по-своему. Она говорила, что свежий воздух, дескать, полезен для здоровья. Вот и доигралась. Ребенок подхватил простуду, начал кашлять, а окно по-прежнему оставалось нараспашку. Мсье Дено не на шутку разругался с невесткой. Он даже предупредил ее, что у Ришара, судя по всему, начинается воспаление легких. Но все было как об стенку горох. Когда она наконец решилась вызвать врача, температура у мальчика поднялась до сорока градусов.

Старик надолго припал к стакану, потом промокнул усы платком. Сидевшая рядом парочка так же азартно спорила о лошадях и ставках. Все новые и новые посетители входили в пивную, постепенно наполнявшуюся нестройным гулом голосов... Горчичник — вот что нужно было малышу при первых признаках болезни. Мсье Дено советовал это и Ширли, и Леону. Те лишь посмеялись в ответ: это, мол, стародавнее средство, чуть ли не доисторическое. Сегодня только и слышишь что пенициллин, да олеомицин, да разные там антигистаминные препараты... короче, всякие бесполезные новомодные штучки, предназначенные для выжимания денег из бедняков. Чтобы какая-то плесень излечивала воспаление легких! Смех, да и только. Зато врачи да аптекари знай себе наживаются. Попробуйте-ка возразить! Когда мсье Дено попытался вмешаться, докторишка-молокосос чуть было не прикрикнул, чтобы он занимался своими делами. Зато счет за лекарство, как всегда, пришлось оплатить ему, мсье Дено: Леон, естественно, сидел без гроша.

Старик со вздохом заглянул на дно стакана. Подоспевший тотчас же официант осведомился, не желает ли он повторить. Мсье Дено машинально кивнул — мысли его были далеко. «У сегодняшних молодых докторов больше гонора, чем знаний». И вот тому подтверждение: пенициллин ничего не дал. После недолгого понижения температура у Ришара опять

подскочила до 39,8°. А ведь от воспаления легких есть испытанное, надежное средство. При виде мечущегося в постели, стонущего внука с багровым, горячечным лицом мсье Дено твердо решил взять дело в свои руки.

Втайне от домашних он сходил в бакалею на углу за пачкой горчицы. Уж что-что, а горчичники он готовить умел. Сколько он их понаделал раньше! Это проще пареной репы. Достаточно растворить немного горчицы в воде, получившуюся кашицу нанести на кусок марли, накрыть сверху другим и приложить к груди больного... Гордый своей находчивостью, мсье Дено заторопился в ванную, сжимая в одной руке коробочку с драгоценной горчицей, а в другой — салфетку тонкого полотна. Размешивая горчицу в теплой воде, он подумал, не лучше ли будет добавить к горчице немного муки, чтобы поменьше жгло. Кажется, так делала его мать, когда прихварывал кто-нибудь из детей. Но где взять муку? Может, поискать на кухне? Но Ширли наверняка обнаружит, что кто-то рылся в ее хозяйстве, и не даст ему довершить задуманное. «Ничего, и так сойдет». Ведь горчичник он приложит на каких-нибудь десять минут...

Сидя все за тем же столиком, на край которого была подвешена трость, мсье Дено помотал головой, потом снова поднес к губам стакан, словно пытаясь утопить в нем свою горечь... Пока никто не мешал ему действовать, все шло без сучка без задоринки. Войдя в комнату Ришара, он первым делом уткнулся носом в будильник, чтобы разглядеть, который час, потом поставил внуку горчичник. Но сразу после этого все пошло кувырком. Едва он укрыл мальчонку одеялом, как явилась Ширли с таблеткой и стаканом воды в руке: время принимать лекарство. «Пускай бы она делала что хотела, мне бы смолчать тогда». Увы, это оказалось сильнее его. Он с жаром ополчился против шарлатанского изобретения — пенициллина. Разве у Ришара не подскочила опять температура? Тогда зачем упряமиться? Невестка, пожав плечами, сухо посоветовала ему не вмешиваться не в свои дела. Мсье Дено приготовился было дать ей отпор, но тут англичанка, принюхавшись, заметила, что в комнате

«странный запах». Говоря это, она пристально посмотрела на свекра, отчего тот растерялся и пошел на попятную, пробормотав, что она, в конце концов, возможно, и права с этими таблетками. Где ему разбираться в современных лекарствах. Теперь старик проклинал себя за такое самоуничтожение. «При всем том, что из этого вышло...»

Он осмотрелся вокруг. Пивная заполнилась почти до отказа. Группками приходили рабочие — пропустить стаканчик после трудового дня. Двое молодчиков уселись за его столик, хохоча во все горло. У одного из них ото лба к макушке ползли обширные залысины, а огромный нос был усеян красноватыми прыщами; другой, почти карлик, носил бейсбольную шапочку с прозрачным козырьком и жевал длинную сигару. Прежде чем мсье Дено успел воспротивиться, они заказали пива и ему. Он выпил с ними, бормоча слова благодарности, на которые они не обратили внимания. «Если б сейчас меня увидел Леон, он бы не поверил своим глазам». На минуту старику захотелось, чтобы его сын оказался здесь и убедился, что он, мсье Дено, в нем не нуждается и вполне способен самостоятельно управляться со своими делами. Но он быстро отбросил эту мысль, которая сама по себе уже свидетельствовала о его зависимом положении. «Хватит об этом». Леон виноват не меньше Ширли, а может, в некотором смысле и больше — ведь он как-никак его сын.

Когда Леон неожиданно-негаданно заявился со службы на два часа раньше, Ширли только успела выйти из комнаты, а горчичник пролежал на груди Ришара ровно девять минут. Старик еще шурился на будильник, как вдруг дверь снова открылась. Он вздрогнул и едва скрыл гримасу раздражения. Леон влетел в комнату, не сняв даже пальто. Ришар, похоже, спал. С приоткрытым ртом, из которого вырывалось свистящее дыхание, он лежал совершенно неподвижно, даже веки не вздрагивали, и его белокурая головка с пылающими от жара щеками провалилась глубоко в подушку. Конечно же, то горчичник уже начинал оказывать свое целительное действие. Если бы только Леон не болтался так долго в

комнате! Нервы старика натянулись как струны. Он то и дело поглядывал на будильник: стрелка неумолимо пожира-ла минуты. Леон тоже заметил, что в комнате держится едкий запах. Мсье Дено поспешил солгать сыну, что он только что закапал себе в нос ментоловые капли. В ответ Леон лишь покачал головой. Наконец он убрался. Мсье Дено бросился к постели внука в тот самый миг, когда тот, внезапно пробудившись, издал болезненный стон. Старик быстро отлепил от его груди горчичник и, не найдя ничего лучше, бросил его в корзину для бумаги: из коридора было слышно, что сюда уже торопятся Ширли и Леон. Но горчица рас-пространяла в воздухе до того крепкий запах, что все оказалось тщетным. Леон тотчас выхватил горчичник из корзинки, в то время как Ширли, склонившись над грудкой ребенка, издала негодующий вопль:

— He'll kill him, that's what he's going to do!\* Да он угро-бить его решил!

На коже ребенка вздулись крупные желтоватые волдыри. Правда, сам мсье Дено ничего не увидел. Ему не дали подойти поближе. Да и то — разве разглядел бы он их своими близорукими глазами? Ширли разъярилась не на шутку. Она заявила, что пока еще она в своем доме хозяйка и не допустит, чтобы ее сына уморил выживший из ума старый осел. А если ему это не по нраву, пускай убирается ко всем чертям. И Леон смолчал: он ничего на это не возра-зил! Леон, его собственный сын...

— Огонька не найдется?

Старик вздрогнул, обернулся к спрашивавшему. Он порыл-ся в карманах и только потом вспомнил, что бросил кúрить с тех пор, как у него начались головокружения.

— Нет, простите...

Но тот уже повернулся к другому соседу. Мсье Дено вновь погрузился в прерванные было размышления. «Да она просто-напросто выставила меня за дверь», — прошептал он. Если б он ушел по собственной воле, то переживал бы это сейчас не так мучительно.

\* Он хочет его убить, вот что он задумал! (англ.)



Он осушил стакан и откинулся на спинку стула, свесив голову. Дыхание его становилось все более затрудненным, взор туманился. «Сейчас голова закружится». Его охватила паника. Что станет с ним в такой дали от дома, в этой пивнушке, где его никто не знает? Наверняка это от нехватки воздуха: в зале повисла завеса из табачного дыма и пивных испарений. «Скорее на свежий воздух!»

Схватив трость, он с усилием поднялся, оперся обескровленной рукой о столик, чтобы удержать равновесие. Через какое-то время он почувствовал себя сносней и отважился сделать несколько шагов. «Я не так уж слаб, не так уж беспомощен, я...» В этот миг нога его наткнулась на препятствие — не то на чью-то ногу, не то на ножку стула. Он попытался опереться на трость, но та скользнула в луже пива. Он почувствовал, что падает вперед и что-то острое ударяет ему в надбровье... Придя в себя, он обнаружил, что официант прикладывает ему ко лбу влажную салфетку. По виску его стекала теплая, вязкая жидкость.

— Ну что, полегчало, отец?

Старик с усилием утвердительно кивнул, потом смежил веки.

— Его бы домой отвезти. Знает его тут кто-нибудь?

— Нет, нет,— прошептал мсье Дено.— Не домой.

В тот же момент он ощутил, как чья-то рука обшаривает его карманы и вытаскивает бумажник. Выходит, теперь его еще и обворовать собираются? Он вяло шевельнул рукой, пытаясь защитить свое достояние. Но оказалось, что искали всего-навсего его адрес.

— Это недалеко отсюда,— сказал чей-то голос.— Я вызову такси.

— Нет,— вяло воспротивился старик,— я не хочу.

— Но ведь сами вы наверняка не дойдете, отец,— принял ся увещевать его официант.— Поедьте в такси. Так будет лучше.

Чьи-то сильные руки приподняли мсье Дено под мышки. Он сделал слабое движение, пытаясь высвободиться, но зал, столики, стены кружились вокруг него в дьявольском хорово-

де. Свинцовый груз навалился на плечи, ноги подкашивались. «Отдохнуть бы в кровати, неважно где, но отдохнуть». Если бы его не поддерживали, он бы как пить дать рухнул, снова впал бы в беспамятство. Воздух, казалось, никак не желал входить в его легкие. Дышал старик неровно, с присвистом. Кто-то надел ему на голову шляпу, и его чуть ли не понесли к такси. По бокам от него на сиденье сели двое. От самой поездки в памяти у него мало что осталось. Поднимаясь по лестнице, по-прежнему поддерживаемый с обеих сторон, он судорожно икнул, отчего рот наполнился горькой пеной, потом услышал голос Леона:

— Что он там еще отмочил? Ну конечно же, решил погулять один! А ведь я его предупреждал... Вот сюда, тихонько, сейчас мы уложим его на кровать.

— Он был в пивной,— сказал один из привезших его субъектов,— и вдруг как растянется во весь рост! Да еще вдобавок, похоже, ударился головой об стол. Видите, вот здесь, у него еще сочится кровь.

— What did you say?\* — раздался протяжный голос Ширли.— В пивной? Он был в пивной? Только этого нам не хватало! Вот здорово будет, если он вдобавок еще и запьет! Thank you. Thank you very much\*\*. Вы знаете, вообще-то мы стараемся за ним присматривать, но сегодня у нас мальчик болеет, вот он укладкой и улизнул.

— Да-а,— сказал один из его провожатых,— за стариками глаз да глаз нужен. У меня папаша тоже такой.

Старик предпринял героическое усилие, чтобы сесть. Таковую беспардонную ложь он без ответа не оставит. Ни Ширли, ни Леон никогда не запрещали ему выходить на улицу. Однако все, что он смог — это приподнять голову.

— Может, выпьете кофе? Он уже почти готов,— предложил Ширли приехавшим.

Те отказались. Мсье Дено услышал, как захлопнулась входная дверь. Ему почудилось, что его оставили одного на целую вечность. «Никому до меня дела нет. Они решили меня

\* Что вы сказали? (англ.)

\*\* Спасибо, большое спасибо (англ.).

выгнать. Живут благодаря мне, а решили меня выгнать». Вдруг он вспомнил о Ришаре. Как он мог позабыть о нем так надолго?

— Леон, Леон! — позвал он хриплым голосом.

Прибежал Леон.

— Что такое? Вам хуже?

Старик почувствовал, как у него застучало сердце. Пришлось выждать, пока восстановится дыхание.

— Ришар,— проговорил он,— Ришар, как с ним...

— Ему уже лучше,— ответил Леон.— Приходил врач и сделал ему укол.

Напряженное лицо старика разгладилось.

— Это все горчичник,— с усилием выговорил он,— это горчичник...

— Давайте не будем об этом больше, ладно? — сказал Леон.— С этим покончено.

— Это горчичник, говорю тебе.

Леон промолчал. Губы старика тронула неуверенная улыбка. Дышал он уже ровнее. «Я ведь знал, что в конце концов он со мной согласится. Ему стыдно в этом признаться, но он сознает, что был не прав». Бурная радость захлестнула мсье Дено при мысли, что благодаря ему Ришару стало лучше. Сердце так отчаянно сжалось при виде мальчика, корчащегося от боли в своей кровати, с побагровевшим и распухшим от жара лицом... «Только когда люди страдают, до конца понимаешь, как сильно их любишь». Покачивая головой, старик на минутку прикрыл глаза. «Как я мог еще недавно вынашивать мысль оставить малыша? Разве смог бы я жить без него?» Нет. Такого он себе теперь и представить не мог. Уж лучше стиснув зубы сносить насмешки Ширли. «Ширли...» Безмерно гордый тем, что он спас ребенка, старик позволил себе проявить снисходительность по отношению к невестке. Хотя она и чересчур большая гордячка, чтобы это показать, но сейчас она, должно быть, сгорает со стыда... И к тому же разве не она мать Ришара? Разве не она, пусть, может быть, того и не желая, принесла мсье Дено утешение на старости лет, придала его жизни смысл?

— Леон...

— Да, папа?

— Скажи Ширли, что я ее прощаю.

— Вы ее прощаете? Что вы имеете в виду?

— Скажи Ширли, что я ее прощаю,— терпеливо повторил старик.

Леон покачал головой.

— Ладно. Я ей скажу. А теперь отдыхайте.

Глубоко вздохнув, мсье Дено устало смежил веки. «Жизнь потечет по-старому. Мне не придется никуда переезжать. И я каждый день буду видеть малыша...» При этой мысли в груди его разлилось приятное тепло. С улыбкой на губах он мысленно увидел себя прикладывающим к груди Ришара горчичник, который должен будет окончательно его вылечить. «Я еще могу быть полезным. Сам Леон не осмелился этого отрицать». Сердце его стучало уже не так сильно. Он с наслаждением наполнил легкие благодатным воздухом,— как хорошо дышать! — потом незаметно соскользнул в сон.

# Наим Каттан

## Продавец игрушек

Невысокого роста, плотная, широкоплечая женщина обернулась ко мне и с обезоруживающей улыбкой попросила снять чемодан. Потом, повязав вокруг шеи шарф, принялась будить спавшего на сиденье мальчика. И снова улыбнулась. На заигрывание это было мало похоже, как, впрочем, и на плату за услугу. Дружески улыбнулась, я бы даже сказал, признательно. Может, и встречались мы где раньше. Чуть было ей это не сказал, да вовремя спохватился: решит еще, что я набиваюсь ей в приятели. Ребенка она понесла на руках, он только на секунду приоткрыл веки и снова задремал, положив ей голову на плечо, и его ноги болтались, то и дело задевая ей по бедрам. Женщина вздохнула, скользнув по сторонам безразличным, отсутствующим взором, в котором проскальзывала суровость. Она направилась к выходу, словно забыв о своем чемодане. У меня самого был только портфель, и я, подхватив чемодан, пошел следом. За вокзальными дверями она поставила ребенка на землю и потрепала по щеке, правда, ласка эта сильно смахивала на пощечину.

— Ну-ка просыпайся. И не стыдно тебе? — И, обернувшись ко мне, добавила: — Ему уже семь.

Так мы и стояли вдвоем. Я был, можно сказать, при чемодане.

— Скажи спасибо мсье,— сказала женщина, словно тем самым освобождая себя от необходимости благодарить.

Говоря по правде, ни симпатии, ни особого желания помочь она не вызывала, уж больно мощная была, сильная,

© Editions Hurtubise. НМН, Lteé, 1979.

решительная. Хотя, не будь при ней ребенка, я бы, может, и проводил ее домой, а там, глядишь, провел бы с ней часок-другой.

С Луиджи мы договорились встретиться в холле гостиницы «Уэстбери». «Там лучший в городе ресторан», — утверждал он. В этой гостинице я и заказал себе номер, то ли решил, что так удобней, то ли просто по лености. Так что днем я был свободен. Луиджи держал на улице Блур магазин, но он не пожелал, чтобы я туда заявлялся до того, как мы сговоримся о нашем общем деле. Знакомы мы с ним были уже два года. Как-то раз один из моих немецких поставщиков написал мне, что передает исключительное право на продажу своих изделий в Торонто местному продавцу игрушек. А на следующий день позвонил уже сам Луиджи, решив, видно, завязать знакомство. Оказалось, что нам обоим пришла в голову одна и та же мысль: открыть магазин на паях. В больших магазинах сплавляют разную дребедень. На этом греют руки в основном американцы, а если те что пропустят, тут как тут корейцы, китайцы из Гонконга. Никому неохота всерьез заняться настоящими игрушками или придумать игры, в которых дети могли чему-нибудь научиться. А ведь на них большой спрос! Мы с Луиджи несколько раз взвешивали все за и против и в конце концов решили объединить наши усилия, а там, глядишь, и другие такие магазины в Канаде появятся. Съездив сначала на разведку в Гамильтон, Луиджи пригласил теперь меня к себе в Торонто, чтобы окончательно обо всем договориться.

Уж больно ему хотелось закрепить наше заочное соглашение, хорошенько отметив его в ресторане.

Такси поджидало нас. Чемодан я передал водителю.

— А вам куда? — полюбопытствовала незнакомка.

— В «Уэстбери».

— Тогда садитесь. Нам по пути. Вместе и доедем.

Мальчуган забрался в машину первым. Женщина назвала водителю адрес, и я почувствовал прикосновение ее коленей. Если бы не ребенок... Стыдно было признаться, но женщина

меня чем-то притягивала. Может, основательностью своей, крепостью, силой...

— Белла Арнольд,— произнесла женщина и протянула мне руку.

Маленькая рука, пухлая — я пожал ее чуть небрежно, но отпустил не сразу. Женщина медленно, словно нехотя, высвободила ее.

— Шарль Жильбер,— представился я.

— Вы сюда по делам?

— По делам.

— А чем вы занимаетесь, если не секрет?

— Игрушками торгую, у меня магазин, сам же их из-за границы и получаю.

— Недаром вы мне сразу показались симпатичным. Не может он, думаю, быть каким-нибудь бакалейщиком или адвокатом.

Мимо мелькали улицы, парки.

— Надо же, а я решил, что «Уэстбери» в двух шагах от вокзала.

— Мы сперва к моей сестре. Вы не спешите?

— Честно говоря, нет. Встреча у меня в шесть.

— О, до шести сто раз успеете, и волноваться нечего.

Мальчик между тем не отрывался от окна. Женщина слегка обняла его.

— Дуется на меня,— прошептала она,— не хотел сюда ехать.

Мне вдруг представилось, что мы — хорошие знакомые, и мне захотелось взять ее руку, прикоснуться губами к шее. Но я осадил себя. Два развода. Дважды уже потерпел крах. Хорошего понемножку. Но с Беллой мне не было боязно, и это настораживало.

Такси остановилось. Белла протянула водителю деньги.

— Может, подыметесь, выпьете соку, кофе? Спиртного сестра не держит.

— Но...

— Вы же сказали, что не спешите. Ведь свидание у вас в шесть. Сейчас только начало четвертого.

В квартире все было вверх дном. Пепельницы набиты окурками, невымытые чашки, высохшие растения в горшках, и, куда ни глянь, везде подушки.

— А вы садитесь,— предложила Белла.— Пойду погляжу, нет ли чего в холодильнике.

Я опустился в нечто отдаленно напоминающее кресло. Поль в соседней комнате уткнулся в телевизор.

— Сделай потише, Поль! — слышался из кухни голос Беллы.

Но вот она, радостно улыбаясь, влетела в комнату.

— Чудеса, да и только! Надо же! Бутылка пива.

— Нет, благодарю. Я пиво не очень.

— Да будет вам. Это же целое событие: виданное ли дело, чтобы сестра отказалась от своих принципов.

И, не слушая моих возражений, она уверенной рукой принялась наполнять стоявший передо мной на столике стакан. Потом, схватив сумку, направилась к выходу.

— Поль, будь умницей, слушайся мсье. У него целый магазин игрушек, и он очень любит детей.

Потом она повернулась ко мне, словно вспомнив в последний момент, что и мне не мешало бы объяснить, что к чему.

— Я отлучусь на полчаса. Мне к адвокату надо. Ерундовое дело, подпишу бумаги, и привет. Наконец-то я покончу со всем этим. Вы меня так обяжете!

И уже взявшись за ручку двери:

— Будьте как дома. Там, у телевизора, целая кипа журналов. Это на случай, если не захотите смотреть с Полем передачу. Впрочем, вы так любите детей.

Я не успел и глазом моргнуть, как она уже была на лестнице. Вскочив с кресла, я опрокинул лежавшую на подушке пепельницу и, чертыхнувшись, полез собирать окурки. Я не успел даже рассердиться как следует. Я был так поражен, что, снова усевшись в кресло, машинально принялся потягивать пиво, забыв даже, что не выношу его.

По телевизору болтали без умолку, но я никак не мог уловить смысл. А между тем дело приближалось к пяти.

Надо было предупредить Луиджи, что я в Торонто, что



застрял сам не знаю где. Кассирша, видно, выясняла отношения с покупателем, она меня не признала, лишь сухо уведомила, что Луиджи в магазине нет. Мне ничего не оставалось, как вернуться к телевизору; Поль не обращал на меня никакого внимания: лежа на животе, он не сводил глаз с экрана, как раз передавали мультфильм. На цыпочках я вышел из комнаты. Бог его знает, о чем бы я стал говорить с мальчиком, вздумай он ко мне обратиться.

Я сидел, листал книгу, которую взял с собой в дорогу. Ждал. Потом поднял глаза и увидел Поля. Он стоял передо мной и молча плакал. Видно, я задремал. А на часах между тем было десять минут седьмого. Луиджи, верно, ждет меня в «Уэстбери», а я в гостинице даже и носа не показывал. Он наверняка решит, что я передумал, а его и не соблаговолил поставить в известность.

— Она не вернется,— выдавил из себя Поль,— она папу моего бросила, а теперь меня.

— Да что ты, мама вот-вот явится, она, наверное, никак такси не поймает.

— Она меня бросила, я ей надоед,— продолжал всхлипывать Поль,— она и папу бросила.

— Ну это разные вещи. Да перестань ты хныкать.

Я подошел к нему, обнял, похлопал по плечу.

— Она уехала навсегда.

Ну что ты будешь делать? У меня у самого детей нет, но за свою жизнь я так наловчился их уговаривать, ведь моя работа в том и состоит, чтобы всучить ребенку лишнюю игрушку. Может, какая-нибудь игра настольная, машинка его бы и отвлекла, успокоила, но у меня, как на грех, ничего под рукой не было. А мне тем временем позарез нужно было связаться с Луиджи.

Мне пришлось долго уговаривать, просить, ругаться, прежде чем я уломал, наконец, кого-то там на другом конце провода, чтобы Луиджи вызвали из ресторана. Наигранно веселым тоном я поведал ему о том, что со мной приключилось.

— Не могу же я теперь оставить мальчугана одного.

— Да, да, конечно.

Луиджи мне явно не верил и злился на то, что я принимаю его за дурака. Но все же он согласился подождать меня в баре.

— Как только его мамаша заявится, я тут же лечу.

Я снова уселся у телевизора: теперь был черед новостей. Из кухни донесся голос Поля:

— Я есть хочу, а тут ничего нет.

— Не может такого быть. Что-нибудь да отыщем.

Теперь мы были заняты одним делом, и это нас связывало. У людей, чужих друг другу, так обычно и бывает.

Лук, капуста, свёкла, два увесистых куска кроваво-красного мяса — что и говорить, прямо ложись и помирай с голоду, ведь нельзя же есть без хлеба: гренок и тех нет.

Телефонный звонок прервал наше молчание.

— Это вы, Шарль? Ну слава богу.

Было слышно, что она запыхалась, с трудом переводит дыхание.

— Поль, наверное, умирает с голоду. Там, через две улицы, есть забегаловка, Поль знает. Пусть он поест. Я-то в какую переделку попала, я вам расскажу. Никак не могу освободиться. Когда будете уходить, дверь не запирайте на случай, если придете раньше меня. Я приготавливаю обед, как только вернусь.

— Послушайте, Белла, меня ждут, я все-таки приехал сюда по делам.

Но мне никак не удавалось по-настоящему рассердиться, и говорил я спокойным тоном, подбирая слова, чтобы ее не обидеть.

— Знаю, Шарль. Как все ужасно получилось. Но это не человек, а скотина. Он хочет обобрать меня и поставить на колени, но не на такую напал. Можете мне поверить. А поглядели бы вы, как он ведет себя у адвоката: приветливый, ласковый, душка прямо. Он бы и рад, да не готовы бумаги. Нет, каково? И адвокат с ним заодно. Пойдем, говорит, пообедаем и решим дело полюбовно. Я не могла отказаться, и вот пожалуйста. Один бокал мартини, другой... А мой Поль там помирает с голоду.

Луиджи был вне себя.

— Ты волен поступать как знаешь. Я ведь, Шарль, не вчера родился, все понимаю. Жены у тебя нет, свободная птица, но можно же было отложить свидание до завтра. Никуда бы твоя красotka не делась.

Без толку было ему доказывать, объяснять. Луиджи и слушать не хотел. Что и говорить, день пошел насмарку. Придется мне потом умасливать моего компаньона, ну да ладно, как-нибудь поправлю дело, не все еще потеряно.

Поля я держал за руку. Он уже привык ко мне, не стеснялся, даже показывал дорогу. Скоро мне стукнет сорок. Два раза был женат, пятнадцать лет у себя в магазине имею дело с детишками. Но вот так чувствовать у себя в ладони руку ребенка, более нежную, чем у мужчины, более незащищенную, чем у женщины, было для меня внове, и в душе у меня рождались необычные чувства.

Кем мы, в сущности, были друг другу, не сразу и скажешь. За столом я спросил:

- Ты что хочешь, шницель или бутерброд с сосиской?
- А то и то можно?
- Конечно, и жареной картошки еще возьмем.
- Спасибо.

Он повеселел, все волнения канули в прошлое.

Себе я тоже заказал и шницель и сосиски, и мы сразу же набросились на еду.

— А тебе не мешало бы помыть руки,— сказал я ему.

— Точно, вон какие грязные. Мама бы мне задала. Давайте вместе сходим помоем.

Вернулись мы вовремя, потому что официантка как раз собиралась уносить наши тарелки, а ведь мы к еде едва притронулись. Поль чуть не вырвал тарелки у нее из рук.

— Вы с мамой ладите?

— В общем, да... Она добрая, вот только когда тосковать начинает...

— А почему это она тоскует?

— Не знаю.

— Сладкое будешь?

— Буду. Шоколадное мороженое. И молоко. Ты что, не заказал?

Вроде бы и с упреком сказал, а мне было приятно.

— А твой отец? Видитесь с ним?

— Редко. Не очень-то он и хочет: у его жены свои дети есть. Игрушки-то он мне покупает, а скучать по мне особенно не скучает. Говорит, если хочешь, сам ко мне приезжай. А дети его лупят меня почему зря, а потом на меня же все и сваливают.

— А твоя мама? Не выходила снова замуж?

— Не знаю. У нее был дружок, хороший такой. Но он был женат. Когда он ее оставил, мама сильно плакала.

Как только мы вернулись, Поль тут же стащил штаны и улегся на диван. Я еще и куртку снять не успел, а он уже спал. Я обосновался в соседней комнате. Было бы бесчеловечно бросать ребенка, который мне доверял. Никогда раньше дети не вели себя со мной так, без стеснения, как будто я свой. Вообще-то дети меня скорее любят, смеются до упаду моим шуткам. Иногда мои поддразнивания их обижают, но бояться они меня не боятся. Поль был первым, к кому я по-настоящему привязался. Я и не старался ему понравиться, все вышло само собой, как-то незаметно я привык к нему, почувствовал, что мы с ним заодно, подружился с ним.

Он спал, прижав ноги к животу. Я в первый раз внимательно на него посмотрел. Его жесты, движения были мне уже хорошо знакомы, но теперь он спал, личико разгладилось, и, казалось, он взывал к моей защите, к моему покровительству. Черты лица у него были правильные, само лицо круглое, как у матери, наверное. А хорошо ли я разглядел его мать? Не поручусь, что узнаю ее на улице.

Устроившись в кресле, я тоже решил вздремнуть. Меня разбудил какой-то шум. Поглядел на часы: дело за полночь. Это Белла грохнулась обо что-то, пробираясь в темноте на цыпочках.

— Какая же я неловкая,— сказала она,— я не хотела вас будить.

Я протер глаза и потянулся за курткой.

— Ладно, я пойду.

— Куда? Вы же можете лечь на кровать сестры. Она, видно, осталась у любовника.

— А действительно,— ей в отместку ухватился я за предложение. В конце концов раз уж со мной не церемонятся, то и я не буду.

Она заперлась в ванной, и чистить зубы мне пришлось на кухне. Сквозь дремоту я слышал, как она кончила мыться. Сон несколько утишил мое раздражение, а заодно освободил меня от необходимости мириться с Беллой, а то, чего доброго, это кончилось бы тем, что я угодил бы в силки в третий раз. И потом, Поль...

Наутро Белла принесла мне в кровать чашку чая.

— Кофе кончился.

— Хорошо ли вы провели вечер? — спросил я.

— Да, хорошо,— быстро ответила она и тут же, спохватившись, добавила: — Вы шутите. Я же говорила, что он скотина. Ради Поля я все и затеяла. Он вам не очень докучал? Вообще-то он славный. Вы нас так выручили, вы просто святой человек, не знаю, как вас и благодарить.

— Да ладно.

Когда я выходил из ванной, Поль уже поджидал меня в коридоре.

— Сама обещала, а теперь отговаривается. Как ей не стыдно.

— Здорово, Поль,— сказал я.— Что, выспался?

— Выспался. Она сама обещала.

— Что обещала?

— Повести меня на башню. А теперь отнекивается. Может, ты со мной сходишь?

— Я не могу, Поль. У меня дела. Очень жаль, но не могу.

Мне и правда было жаль и хотелось объяснить ему, чтобы он не обиделся.

— Ты уже уходишь? А как же я, у меня и друзей тут нет.

Белла продолжала заниматься своим делом, словно наш разговор никоим образом ее не касался.

— Но, Поль, мне надо идти. Как-нибудь в другой раз.  
У самых дверей меня нагнала Белла:

— Приходите обедать. Я приготовлю что-нибудь вкусненькое.

— Я бы с удовольствием, но никак не могу.

— Поль пойдет навестить отца. А вы надолго в Торонто, Шарль?

— В воскресенье домой.

— Надо же, и мы в воскресенье. Ты слышал, Поль?

— Значит, вместе поедem? — обрадовался мальчик.  
И прижался ко мне всем телом, словно это было бог весть каким для него счастьем.

Я преувеличенно восторгался всем, что видел у Луиджи в магазине, чтобы не глядеть на него самого. Я не сразу привык к его маленькому росту и изъеденному оспой лицу.

Видно было, что Луиджи не в духе, он и не пытался скрыть обиды. Но в конце концов оттаял. Я настоял, чтобы мы отметили наше соглашение, чуть было не сорванное по моей вине, и отправились обедать в «Уэстбери». О дальнейшем мы договорились: через неделю-другую Луиджи придет ко мне в Монреаль.

На следующее утро меня разбудил телефон.

— Неужели еще спите? Ну и лентяй же вы! — послышалось из трубки. — Сознавайтесь, чем это вы так подкупили моего Поля, он мне о вас все уши прожужжал. Он провел такой ужасный день с отцом, да и я измучилась. У вас-то хоть все в порядке? Провернули свое дело? Что молчите, устали, наверное?

— Так ведь...

— Послушайте, Шарль, раз уж нам на один поезд, заехали бы сначала к нам. Выпьете кофе, а потом все вместе махнем на вокзал.

— У вас что, тяжелый чемодан?

— Да нет, я вовсе не потому. Просто не люблю разъезжать в одиночестве. И к тому же мой муж никак не хотел

оплатить нам самолет. Он, видите ли, за нас боится, а самому наверняка наплевать.

В поезде никому и в голову не пришло, что мы чужие друг другу. Поль заговорщицки мне подмигивал, словно у нас с ним были какие-то секреты от матери, и Белла вроде бы находила это забавным. Она великодушно называла меня «дядя Шарль», а Поль и вовсе никак не называл: «вы», и все тут.

Прибыли мы, наконец, в Монреаль, а что дальше делать, не знаем. Чем должно было закончиться наше затянувшееся совместное времяпрепровождение?

— В магазин-то ко мне придешь? — спросил я Поля. — Ты вроде бы не любишь игрушки, но таких, как у меня, ты больше нигде не увидишь.

— Да нет же, игрушки я люблю, — горячо принялся убеждать меня Поль.

— Тогда за чем же дело стало? С мамой и приходи.

Белла смущенно улыбалась, ни дать ни взять дитя малое.

— Может, как-нибудь заглянете к нам? Я позвоню.

— Буду рад.

— Поль, погляди-ка, — воскликнула вдруг она, — узнаешь, кто это? Дядя Мишель. Надо же!

Белла прямо засветилась от радости.

— А я-то решила, что больше его не увижу. Черкнула ему записку и не надеюсь почти. Какой дядя Мишель славный, правда же?

Поль мрачно глядел перед собой. Сказать, что он дулся, не скажу. Погрустнел скорее.

— Ладно, может, еще встретимся, — буркнул я на прощанье.

# Жан-Жюль Ришар

## Парень думает о милой

Голубой, как небо, снег.

Мокасины Мео, крепкие, точно бычок, чья шкура пошла на них, протаптывают тропинку на скотный двор. Этой ночью снег выпал словно нарочно для того, чтобы к утру все было укутано в белое, как гробики его, Мео, мертворожденных братишек и сестреночек.

Мать сказала:

— Опять повсюду ангельские перья. Зимой мои ангелочки сбрасывают оперение.

Отец остановил на говорившей тяжелый взгляд. Что-то подкралось к губам Мео и предательски толкнуло их изнутри. Мать встала, сцепила руки на безобразном животе и побрела в горницу, укрыться в ее застойном воздухе. Снова ей, видно, понадобилось пальцами ощутить присутствие своих ангелочков. Они все там — вернее, то, что от них осталось: тканевые квадратики с выпуклыми белыми цветами, украшенные свинцовой звездочкой. Каждый кусочек — из покрывала на гробе. Восемнадцать раз сползала Леда с родильного ложа, чтобы завладеть дорогим ее сердцу сокровищем.

Мео толком не понимает своих родителей. Мать тускла и печальна. Она почти никогда не открывает рта. Только о своих ангелочках и думает. Всякий раз, когда она заговаривает с Мео, что-то злое сквозит в ее голосе, будто упрекает: «Почему ты не стал одним из ангелочков? Ты вырос и слишком похож на него, на твоего отца».

И правда, Мео похож на Феликса. Мео считает, что его отец ладно скроен, в его медлительных, полных скрытой



силы движениях есть что-то притягательное. А раз отец его недурен собой, таким должен стать и Мео. Мео готов полюбить Феликса. Не похоже, чтобы Феликс ставил ему в вину то, что он существует, как это делает его мать. Но не похоже и на то, чтобы Феликс вообще замечал, что его сын существует.

Разговаривать Феликс тоже никогда не разговаривает. Но Мео не обижается. Молчание стало как мебель в доме, как скотина в хлеву, как дерево у изгороди. Тишина, она везде, куда бы они ни пошли. Если б еще Феликс разрешал сыну выезжать на кобыле, Мео больше любил бы Феликса.

Мео идет по тропинке не сбиваясь, до того она ему знакома. Он идет по ней, не видя ее. Это стало инстинктом. Это линия его горизонта. Ось его жизни. Он проходит тут по десять раз на дню. Десять раз на дню он спрашивает себя почему. Когда он выходит из дому, ему некуда идти, кроме как на скотный двор. Когда он уходит со скотного двора, идти ему некуда, кроме как домой. Когда же кончится эта зима? Зимой Феликс не желает ездить в деревню даже по воскресеньям, не в пример другим. И все с тех пор, когда ему пришлось спускаться туда восемнадцать раз, восемнадцать лет подряд, чтобы хоронить ангелочков. И вот уже четыре года, как ангелочков больше нет.

Провизию Феликс закупает осенью. Он берет бочонок соленой трески, и все. Для пропитания им вполне хватает продуктов с фермы, куры несутся исправно, но Мео хотелось бы большего разнообразия. Особенно, чтобы иметь повод спускаться в деревню.

В деревне кое-кто есть. Девушка, которую Мео увидел летом. Он видел ее много раз, и она ему улыбнулась. Он торчал на углу с парнями. Она гуляла с подружками. Но Мео не подошел, как другие. И не заговорил. Он никогда не разговаривает. И поэтому парни кличут его Балабоном.

С тех пор Мео только и мечтает что о Рите. Он знает, ее зовут Рита. В деревне все друг про дружку известно. Да еще вчера соседские парни проходили мимо его дома. Сам бы

он с ними не заговорил, но они подозвали его:

— Поди сюда, Балабон.

Он подошел к их повозке с дровами, и один из парней рассказал ему, что они с братом захаживают к Ритиным сестрам. У самой Риты дружка нет, она передала Мео письмо.

— Чего не приезжаешь-то? — спросили они у него.

— Зимой отец не хочет запрягать кобылу в деревню.

— Ты можешь ездить с нами по воскресеньям.

— Мать не захочет, — ответил он. — Потом письмо это... я не умею читать.

Один из парней распечатал адресованное ему письмо. Мео никогда еще не приходилось вскрывать письма. И оно, письмо это, взволновало его не меньше, чем волновали восемнадцать ангелочков в горнице. Конверт — он такой белый.

Потом парень прочитал письмо.

— И всех-то дел любовные стишки, — сказал он. — Их каждый наизусть знает. Зазывают тебя, вот что. Зайдешь за нами в воскресенье после ужина?

— Не знаю, — сказал Мео.

— Не пойдешь — дураком будешь, — прибавил парень, щелкая вожжами.

Вечером после ужина, когда они сидели перед печкой, топившейся по-черному, Леда пожелала узнать, о чем говорили ему соседи. Леда высмотрела их в окно. Феликс тоже. Мео что-то буркнул себе под нос.

— О дровах, — сказал он.

— Мне показалось, будто они дали тебе что-то белое, — сказала мать, — это напомнило мне о моих бедных ангелочках.

Мео вздрогнул. Не столько оттого, что мать, похоже, раскрыла тайну письма, сколько оттого, что Феликс двинул ногой по стулу жены.

Сложив руки на безобразном животе и тихонько причитая, Леда побрела в свою комнату. Мео положил руку себе на бедро — туда, где в кармане притихло письмо.

Он крепко вжался в стул, готовый защищаться, если отец вздумает допрашивать его о письме. Но молчание продолжалось, нарушаемое лишь треском кедровых поленьев в печи.

Еще Мео подмывало упрекнуть отца за излишнюю суровость к Леде, но Феликс предостерегающе глянул на него. Чтобы яснее дать понять, что он не потерпит никакого вмешательства, Феликс зажег спичку и принялся раскуривать трубку. Спичку он нарочно долго держал зажженной у самого лица, и Мео прекрасно понял его взгляд. Мео отвернулся, скрывая досаду, и отправился в постель.

Теперь, больше мокасинами, чем лопатой с налипшей на нее грязью, Мео разгребает снег у входа в хлев. Не поворачивается у него рука пачкать это ангельское оперение, хоть это и перья его братьев и сестер. Но в сердце его начинает копиться неприязнь к этим ангелочкам на небесах, к которым он поневоле то и дело обращает свои мысли.

Никаких таких рассуждений он, конечно, не ведет. Он только ощущает это. И все же он отдает себе отчет в своем невежестве. Один семинарист, когда приезжал на каникулы, пожалел его, молчальника, и сказал, что Мео должен быть счастлив, раз ничего не знает. Но такое счастье Мео не устраивает. Сильно он в таком счастье сомневается.

Со вчерашнего дня в сердце Мео полыхает костер. Часто он зажмуривается и представляет себе Риту, какая она красивая и пылкая. И эта картинка горячит ему кровь и струнами натягивает жилы в пояснице.

Мео входит в хлев, идет к кобыле потрепать ее за ухом. Кобыла трется мордой о его плечо. Уж она-то, кобыла, охотно отвезла бы его в деревню, ей только того и надо — размяться. Мео остается тут надолго, как обычно: вдыхает идущий от кобылы терпкий запах и поглаживает ее жесткую гриву, от которой так быстро грязнятся пальцы.

Еще он наслаждается бессловесным радушием, с каким его встречают животные. Большие глаза коров, кроткие

морды баранов, рыжие перья несущек — они дают ему отдохнуть от белых ангельских перьев.

Он вновь принимается за работу, чтобы лучше думалось. В нем таятся желания, от которых его пробирает дрожь. Он ощущает жар в пояснице и кипение в паху. Он забирается на сеновал и, вместо того чтобы вернуться оттуда с охапкой, ложится там — полюбоваться письмом. Оно было бы куда красивее, это письмо, не будь конверт таким белым.

И все же ему приятно глядеть на мелкие неровные строчки, карабкающиеся вверх к углу листа. Потом он растягивается на спине, чтобы унять жар в пояснице. Он слушает жалобный посвист ветра в щелях стен и забирается к себе самому в объятия.

Но надо спешить. Феликс решил ехать сегодня по дрова. Чудная идея. Отправляться по дрова, когда только что намело снегу по колено. Видно, отец, разозлившись на Леду, хочет потоптать оперение ангелочков.

Все готово. Мео ведет запряжку к дому, чтобы захватить инструменты, еду и отца. Феликс тотчас выходит. Он садится на один из мешков с сеном, ставит ноги на валеk, берет в руки вожжи и неторопливо цедит:

— Трогай, Чернуха.

Поднатужившись, кобыла сдвигает сани с места и пускается в путь своей размеренной поступью трудяги. Сквозь дверную занавеску Мео различает лицо матери. Странная она сегодня. Обычно она никогда не смотрит им вслед. Мео даже становится грустно при виде ее лица в квадратиках занавески. Кажется, будто она лежит под саваном, как какой-нибудь из ее ангелочков.

Запряжка катит посреди поля — этот путь им давно привычен. Повозка почти исчезает в рыхлом снегу. Ноги у кобылы белые, и она ставит их осторожно, боясь провалиться. Мео подбирает ноги под себя, поуютней устраиваясь посреди окружающего однообразия, и от этого движения в пояснице вновь вспыхивает пожар.

Благодатна свежесть ветерка. Он ласкает задубевшие от желаний члены Мео — на равнине ветер всегда усили-

вается. С ним доносятся и запахи скотины. Вдалеке виднеется ряд соседских домов. Снег вокруг них желтоват. Еще дальше, на холме, деревня: плотная кучка домов, укутанная в розоватый снег. Вновь возникает образ Риты. Мео злится. Он вдруг начинает ненавидеть спину своего отца и его голову, где заключено все, что мешает Мео. В этой самой голове коренится запрет ездить зимой в деревню. Не будь этой головы, не было бы и запрета.

Они въезжают в лес. Свисают перегруженные ветви, длинные, как гирлянды, и кажется, что ветвям тяжело свисать. Слишком низко свисают эти ветви, вот-вот они упадут, переломятся. Снег нефритово-зелен. Птицы поют и, прыгая, рушат белые линии, покрывающие ветки. Верещат белки.

В сарае, где у них устроена сахароварня, Феликс выпрягает кобылу. Ее заводят в тесное стойло. Охалка сена щекочет ноздри животного. Отец с сыном обувают ракетки\*, которые еще их прадеды смастерили. С инструментами за спиной они пробивают тропинку к самой чаще. Струйка сока табачной жвачки летит изо рта Феликса на зеленый снег.

— Ты пачкаешь ангельские перья,— мог бы сказать Мео.

Но он ничего не говорит. У него только добавляется еще чуток отвращения к этому странному человеку, который бьет свою жену. К этому чужаку.

Рубка идет медленно. При падении очередного дерева разыгрывается феерия.словно все восемнадцать его братишек и сестренек разом сбрасывают свое оперение. Перья порхают долго-долго, взлетая в небо. В то самое небо, где ангелочки держат Мео пленником. Потом перья задерживаются в кронах соседних деревьев, резвясь, как голубки. Какое-то время все вокруг окутано опаловой пылью. После перья медленно падают на землю, кружась, словно крохотные балерины.

\* Ракетка — приспособление в форме ракетки для игры в теннис, надеваемое на обувь для ходьбы по рыхлому снегу.

Феликс, прервав работу, любуется этим сказочным зрелищем. Но он не произносит ни слова. Он не хочет показать, что приехал сюда избавиться от наваждения. От наваждения, которое внушает ему жена, от сожаления о смерти всех этих ангелочков.

Мео, тот счастлив, когда снег оседает. Он как бы и сам спускается с не заслуженного им неба. Он возвращается на землю. Он думает о Рите, которую ему хочется повидать. Он хотел бы расцеловать ее письмо, эти ползущие вверх, к углу листа, любовные стишки. Он ощущает жжение в паху. Жар в коленях. И он становится на колени в снег охладиться.

Подходит время обеда, и они разжигают костер из еловых веток. По лесу разливается дурманищий запах. Птицы подбираются поближе, чтобы насладиться этим ароматом. Белки тоже. Отец с сыном перекусывают гречневым хлебом с соленым салом, которое они нарезают ломтиками. Потом они заваривают чай. Феликс раскуривает трубку. Тяжелый взгляд сквозь пламя спички ощущает Мео, пристроившегося погреть у огня колени.

Потом Феликс открывает рот, словно собираясь заговорить. Но поначалу он ничего не произносит. Его взгляд не оставляет Мео. Мео теперь ладный и взрослый, а глаза у него такие темные, будто его снедает тоска. Отец кашляет, Мео, услышав покашливание и чувствуя на себе его взгляд, оборачивается и глядит на него. Лицо Феликса источает холодное бешенство. Мео поражен и тотчас опускает глаза.

— Утром твоя мать снова убивалась почему зря,— говорит Феликс.

От изумления Мео втягивает голову в плечи. С самого завтрака отец не проронил ни слова. А если и заговорил бы, то, по представлениям Мео, только о толщине снега. Или о ветре. Или о кобыле. Томимый желанием спуститься в деревню, Мео взращивает в себе чувство сопротивления, сопротивления всему. Ответ отцу как раз и будет таким сопротивлением. Он выдает его, хлесткий, словно удар бича:

— Надоело мне смотреть, как ты лупишь мать.

Глаза у Феликса лезут на лоб. Впервые Мео отважился на такое. Он отважился высказать свое мнение. Отважился посягнуть на власть. Отец слишком поражен, чтобы немедленно рассердиться.

— Она твердит, что ты знаешь, почему все дети рождаются мертвыми,— добавляет Мео.

Феликс роняет трубку. Он напрягает мышцы рук, и движение это так резко, что он едва не падает с чурбака, на котором сидит. Мео на него не смотрит, но чувствует, что отец готов взорваться. Феликса частенько разбирает, и тогда он переворачивает стол вместе с посудой, опрокидывает стулья, дубасит ногой в дверь горницы. Таким бешеным он ходит дня по три. Ярость его утихает, только когда ему удастся по тому или иному поводу поколотить мать своими ручищами, широкими, как лопата.

— Надо было и тебе стать одним из этих ангелов,— цедит отец.

— Все лучше, чем никогда не бывать в деревне,— отвечает Мео.

— Ах, так ты хочешь спуститься в деревню, посреди-то зимы? — спрашивает отец.

— Да, и притом в лепешку расшибусь, а туда попаду.

— Ни за что, пока я жив,— заявляет отец задыхаясь.— И заткнись.

Отец взбешен. Это видно по всему, это просто чувствуется. Мео в этом больше чем уверен. Но что отец сделает? Здесь нет ни стола, который можно перевернуть, ни двери, которую можно крушить ногами. Потом образ Риты вплетается в испытываемую Мео горечь. От этого он чувствует досаду: ему не хотелось бы думать о Рите, когда он зол, а сейчас в нем и правда закипает злость.

Он похож на отца внешне, так почему бы не походить на него и внутренне? Впервые Мео злится по-настоящему, и это вроде действует на него благотворно. Даже на поясницу. Даже на жар в паху. Отец сказал: «Ни за что, пока я жив». Не надо бы ему говорить такое. И Мео

вдруг набрасывается на работу: собственная ярость внушает ему страх.

Феликс косо подрубает топором дерево, он работает теперь вдвое быстрее, чтобы утихомирить свой гнев. Рубит он так неистово, что дерево уже трещит у основания. Он прикинул угол наклона ели, чтобы знать, куда она упадет. Ель накреняется. Она задевает соседние деревья, ранит добрых два десятка из них, горестно вздыхая, словно это ей больно, а не им, и обрушивается так близко от Мео, что парню кажется, будто она вот-вот погребет его под собой. Ветви хлещут ему по спине, и по всему телу его пробегает крупная дрожь. Когда оседает снег, Мео видит, что отец косится на него. С жестокостью в лице.

Страхивая снег, Мео проводит рукой по воротнику, по поясу, напротив того места, где он чувствует жар, по голенищам сапог. Глаза его стали еще темнее, глаза источают черный свет, и, провалившийся в обычное свое молчание, он переполняется досадой.

Он машет топором словно одержимый, чтобы унять ярость, точь-в-точь как его отец. По спине его ручьями стекает едкий пот. Под мышками колется.

Теперь он работает, краешком глаза посматривая на Феликса. И всякий раз, когда отец попадает в поле его зрения, он видит, что тот тоже на него поглядывает. Уж не нарочно ли отец сделал так, чтобы дерево рухнуло в сторону Мео? Не хочет ли отец и его превратить в ангела? Как остальных? Может, отец твердит про себя: «Не бывать тебе в деревне, пока я жив»?

Молчание затягивается. Не слыша один другого, отец и сын уже не работают вместе, как это было до обеда. Каждый рубит в одиночку, ожесточенно, словно вступив в смертельную схватку. Цель у каждого своя. У отца — избавиться от этого очередного ангелочка. У сына — избавиться от препятствий, которые не дают ему съездить в деревню.

Уплывают два часа, и вот уже выглянувшее солнце опускается в пламенеющую лужицу на опушке леса.



Снег весь красный, и тени деревьев перегораживают его бурым частоколом. Усталость слегка расслабила отца. Он уже не так следит за сыном. Или это самая обычная усталость? Может, отец думает, что Мео не разгадал его намерений? Или что Мео уже успокоился?

Феликс доставал из кисета щепоть жевательного табаку. К сыну он стоял спиной. Он слышал, как топор Мео вгрызается в ствол дерева. Он понемногу утихомиривался в ожидании нового прилива ярости. Внезапно он слышит треск дерева. Оборачивается посмотреть, куда оно падает, и обнаруживает, что прямо на него с невероятной быстротой валится огромный ствол. Отцов взгляд источает растерянность. Движение. Шаг. Первый шаг отчаянной гонки по пояс в снегу. Но все тщетно. Страшной силы удар вколачивает его в снег под рухнувшее дерево.

Тишина.

Великая тишина, точно в небесах, где обретаются ангелочки.

Мео стоит, опираясь на топор, и смотрит, как оседает снег. Он замер. Ждет. Только вот взгляд его жжет глаза, как солнечное пламя. Если не считать этого, он спокоен. Отца он не видит и вроде даже доволен этим. На всякий случай он бросает в тишину зов-другой, но ему вторит лишь насмешливое эхо.

Ответа нет. Нет и новой тени на красном снегу.

Его гложет тревога. Вдруг отец умер? Вдруг?! Что будет с ним, Мео? Отец сказал ему, что не позволит поехать в деревню, пока он жив, но все равно Мео не хотел убивать Феликса, он только хотел его попугать.

Мео перелезает через ствол дерева. Медленно идет вперед. Он проваливается в снег по колени, по самый пах, где прячется тепло. Бежит к месту, где он в последний раз видел Феликса. Лицо его непрестанно меняется. В какой-то миг на нем тревога. В другой — усмешка.

У кроны дерева он зовет снова. Потом чуть поодаль он замечает в снегу косое отверстие. Разрывает снег голыми руками. Находит отцовский кисет. Он хватается за топор

Феликса и принимается обрубать у ели ветви.

Он разрывает снег ногами — руки у него замерзли. Он засовывает руки в карманы штанов и прижимает пальцы к паху, согреть. В него снова начинает вползать страх. Потом он слышит стон. Мео идет на голос. Голос доносится из-под дерева. Мео впиается взглядом туда, откуда исходит звук. Наконец он замечает, как легонько оседает снег. Снег красный — похоже, прямо тут остановилось солнце.

Мео руками разгребает снег, чтобы докопаться до Феликса. Вот появляется его лицо, и рот Феликса пытается сдуть раздражающе налипший на лицо снег. Волосы смерзлись в жесткие пряди. Ресницы удерживают снег на закрытых веках. Отец лежит тут, как в одном из тех белых гробов, в каких Мео видел последних своих братиков. Недостает только матери, чтобы она дотащила сюда и отрезала квадратный кусочек от белого савана.

У Мео снова замерзли руки. Он возвращает их на прежнее место, к паху, и ему кажется, что жжение в паху теперь не такое острое. Потом он отгребает ногами сколько может снега, стараясь отрыть тело целиком. Кое-как это удастся, и тогда он обнаруживает, что отец пленен стволом дерева от груди до ступней. А обломанный сук даже ранил, похоже, Феликса в бедро, и снег в этом месте по-настоящему красен.

Мео пытается приподнять дерево. Приподнимает, но вытащить из-под ствола Феликса он не может. И откатиться дерево тоже не хочет. Оно зажато в тиски между двумя еще стоящими деревьями. Нужно перепилить упавшее дерево. Мео отправляется за пилой. Он никак не найдет свои рукавицы. Руки у него отчаянно мерзнут. Он поочередно засовывает их в карманы поближе к паху.

С пилой на плече он возвращается на место происшествия. О ракетках своих он и думать забыл, он проваливается в рыхлый снег и с трудом вытаскивает из него ноги. Отец постанывает и свободной рукой пытается смахнуть снег с лица. Мео смотрит на него какое-то время, потом начинает пилить ствол. Пила прилипает к его голым рукам.

Пропил почти завершен, и Мео видит, что макушка дерева накрывается и грозит еще больше придавить согнутые в коленях ноги отца. Мео спешит к верхушке ели и подкладывает под ствол как можно больше веток. Потом он возвращается к пиле, держа руки в карманах, потому что руки у него мерзнут.

Перед тем как дереву окончательно обломиться, он подхватывает его, чтобы придержать. Дерево скатывается вбок, и Мео отталкивает его насколько может дальше. От этого движения он всем телом погружается в снег.

Феликса, похоже, задело всерьез. Сам он не в силах подняться на ноги. Мео настигает подле него веток и втаскивает его на них. В том месте, где отец лежал, отчетливо виден отпечаток его тела в снегу. А в середине снег напитался кровью.

Мео укрывает Феликса обеими куртками и бредет к стойлу за кобылой. У него нет времени отогреть руки в паху, и его скованные холодом пальцы никак не справятся с постромками. Кобыла замечает это и оборачивается посмеяться над ним.

Теперь кобыла, по грудь проваливаясь в снег, натужно тянет свой груз по нетронутой целине. Кобыла отчаянно напрягается, чтобы продвинуться вперед, и клочья пены намерзают на ее губах. Наконец она выбирается на дорогу и переходит на обычную неторопливую трусцу.

Мео — он стоит на передке саней и дрожит, потому что он в одной рубашке, — отпускает вожжи, предоставляя кобыле самой проделать обратный путь, и отогревает руки в паху.

Кобыла сама останавливается перед домом, и Мео взваливает отца на плечи. Леда, видевшая, как они подъезжали, отворяет дверь. Сцепив ненужные руки на безобразном животе, Леда смотрит, как они возвращаются, словно ждала их, словно была уверена, что вернутся они именно так. Только до поры она не знала, который из двоих будет нести другого.

Леда вглядывается в черный огонь в глазах сына, а

тот — в черный огонь в глазах матери. Ни слова. Ни вопроса. Только упорный пересвет черных огней.

Феликса укладывают в постель. Не раздевая. Леда укрывает его лоскутным одеялом и отправляется на кухню. Похоже, вовсе не тем, как помочь мужу, заняты сейчас ее мысли. Она мнется у двери в горницу. Ее тянет туда словно магнитом.

Из комнаты доносится стон. Мео с матерью обмениваются взглядами. Свет черных огней, идущий от двух пар глаз, смешивается, и ни один не трогается с места. У Леды пропало желание идти в горницу. Мео садится в качалку и кладет ноги на печную плиту. Через щель в дверце он наблюдает за голубоватым пламенем, как оно резвится себе в свое удовольствие.

Снова из комнаты стон. Стон становится определенной. Отец вроде что-то говорит. Да, он говорит. Он хочет пить.

— Воды,— стонет он.

— Он хочет воды,— говорит Леда.

— Он просит воды,— говорит Мео.

Мео изумлен, видя мать такой. Эта женщина, почти безгласная, на его памяти всегда подавленная и покорная, сейчас вскидывается, словно норовистая лошадь.

— Он хочет воды,— повторяет Леда.

Она идет в комнату к отцу. Чашку она не берет. Что она собирается там делать? Мео орудует ручкой насоса и наливает в чашку воды. Он идет в комнату и, остановившись в дверях, приваливается к косяку. Мать замерла у постели. Она глядит на мужа с недоброй, торжествующей усмешкой. Феликс снова стонет. Он повторяет свою просьбу. Он хочет пить.

— Воды,— стонет он, лихорадочно вертя головой.

— Ты хочешь воды,— произносит Леда,— так вот тебе вода, какую ты заслуживаешь.

Все так же держа бесполезные руки на безобразном животе, она чуть склоняется к Феликсу. И несколько раз подряд плюет ему в лицо.

— Вот тебе вода,— говорит она с глумливой усмешкой.

— Мама,— говорит Мео, сам толком не зная зачем.

Мео подходит к матери с чашкой воды в вытянутой руке. Вид у него такой, будто он собирается дать отцу попить. Мать замечает чашку. Она протягивает одну из своих ненужных рук и хватает чашку.

— Воды,— твердит Феликс.

— Вот тебе вода,— взрывается Леда.— Вот она.

Стремительным движением она выплескивает содержимое чашки Феликсу в лицо. Тот жалко морщится, захваченные врасплох веки остаются закрытыми, потом он пытается слизнуть капли воды, задержавшиеся в уголках рта. Он сглатывает их жадно, как если бы то был полный стакан, и бессильно утыкается подбородком в шею.

— Мама,— говорит Мео.

Та смотрит на него — растерянная, ошалелая. Черный огонь в ее глазах покрывается зеленоватым налетом, как остывающие угли. Она кривит губы и разражается рыданиями — руки колышутся на трясущемся животе.

— Мама,— повторяет Мео.

Та выходит из комнаты. Мео берет чашку, брошенную матерью на одеяло, и идет на кухню. Снова поработав ручкой насоса, он наполняет чашку и подходит с ней к отцу. Все еще озябшими руками он приподымает отцу голову и дает тому напиться вволю. Потом Мео возвращается на кухню. Мать стоит перед дверью в горницу, повернувшись к сыну спиной.

— Надо будет протопить горницу,— говорит она.

Мео чувствует, как гудит у него в голове. В руках, которые он отогревает над печкой, покалывает. Боль эта добирается до самого сердца. Много разных мыслей терзает его. И никак ему не разобраться, какая из них всех важнее. То ли об отце, которого он, быть может, убил. То ли о матери, которая теряет разум. То ли о деревне, куда ему хочется спуститься. Мео уже не чувствует ни жара в пояснице, ни жжения в паху — один только гул в голове.

Мать вошла в горницу. Оттуда тянет холодком, все тем

же привычным могильным холодком. Мео ощущает его на лице, и это его успокаивает. Леда больше не рыдает. Ее вообще не слышать. Что она там делает?

— Мама! — окликает Мео.

Леда не отвечает. Что она делает? Должно быть, что и всегда: любит свои ангелочки. Мео решает пойти посмотреть. Леда переставляет мебель. Она освобождает место. Она снимает кусочки белой материи и складывает их в угол.

Мео собирается заговорить: чувствует, что ей есть что сказать. Но не решается. Он так к этому непривычен, что не знает, как приступить. Он засовывает руки в карманы, как если бы они у него еще не согрелись.

— Носилки поставим здесь, посередке, — говорит она.

Мео оглушен. Неужто мать так хладнокровно относится к смерти? Хотя почему бы и нет? Столько трупиков видела она в своем доме, что для нее это стало чем-то естественным. Так, значит, она не собирается бороться со смертью? Даже если в этой грядущей смерти повинен Мео. А в самом-то деле, знает ли она, что виноват Мео?

Леда продолжает трудиться. Лишняя мебель перекочевала во внутреннюю комнатку. Теперь места для носилок хватает с избытком. Носилки-то есть, они наверху. Те самые, что служили восемнадцать раз. Их только надставить. Под белым покровом это будет незаметно. Из комнаты отца доносится стон. Леда глядит на Мео, словно хочет сказать: «Скоро уж и конец придет».

Мео возвращается на кухню. От всей этой суеты у него с души воротит. В его памяти еще свежи последние смерти в семье, но он ни разу не видел, чтобы к погребению готовилась мать. Когда ее ангелочки отправлялись на небо, она всякий раз была в постели. Мео заглядывает в комнату больного. Феликс облизывает губы, а так лежит без движения. Мео возвращается к печке. Он садится на стул и кладет ноги на открытую дверцу топки. Все те же неотвязные мысли завладевают им. Если отец помрет, он, Мео, и впрямь сможет бывать в деревне, но совесть его

будет беспокойна: ведь если отец умрет, то по его, Мео, вине. Тяжело будет это переносить. Даже если это позволит ему видаться с Ритой каждый воскресный вечер.

Он идет в горницу. Леда, сцепившая руки на животе, оценивает, что получилось после перестановки. Она уже не мечется по комнате. Только косится на белые кусочки материи, которые она чуть ли не пошвыряла в угол.

— Я съезжу в деревню,— объявляет Мео.

— В деревню? Зачем? Он бы тебе не разрешил,— говорит Леда.

— За доктором,— отвечает он.

Тогда мать устремляет на него взгляд, полыхающий черным пламенем. Тревожно перекашивается рот. Ходуном ходят кисти рук, словно она не знает, куда их девать, эти никчемные руки. Всегда такая забитая, эта женщина вдруг наливается яростью, как отец Мео.

— Ни за что,— выплевывает она.

— Мама, мама.

— Он-то ни разу не съездил за доктором, когда мои ангелочки появлялись на свет, оттого-то они все и померли. Так зачем же привозить доктора к нему?

— Мама,— говорит Мео уже поласковой.

Та склоняет голову к своему безобразному животу. Руки ее свисают вдоль бедер. Спина горбится. Под шерстяной юбкой видно, как дрожат ее колени. Она кусает губы и зажмуривается изо всех сил.

— Мама, если он умрет, это, может, по моей вине. А я не ангелочек. Я не сбрасываю перья зимой.

Леда оседает на пол в том самом месте, где должны встать носилки. Она плачет, и Мео ей не мешает. Сегодня он впервые видит ее плачущей. Когда Феликс стучал кулаками по столу, когда он опрокидывал стулья, когда бухал башмаком в дверь горницы, Леда не плакала. Она складывала руки на животе и терпеливо пережидала бурю. Когда после трех дней ярости Феликс напоследок под тем или иным предлогом лупил жену, Леда не плакала. Сегодня — плачет.

— Я съезжу в деревню,— говорит Мео.  
— Нет-нет,— говорит она.— Он бы тебе не разрешил.  
— Я привезу доктора, чтоб он его полечил,— настаивает Мео.

— Нет-нет,— твердит она.  
— Мама!

Она застывает на месте, словно окаменев. Обессиленная и подавленная. Она не делает ничего. Ну совсем ничего. Стон доносится из комнаты Феликса. Мео отправляется на кухню. Он орудует насосом и наполняет чашку. Может, отец снова хочет воды. Мео входит с чашкой в комнату. Он предлагает отцу попить. Тот отказывается. Шевелит губами.

— Где твоя мать? — шепчет он.

Мео пришлось склониться к отцу, чтобы расслышать и понять, но наконец он расслышал. «Мать в горнице. Пусть она придет». Отец хочет с ней поговорить. Мео все так же стоит у постели, держа руки в карманах. Он не знает, что ему делать. Идти за матерью — это понятно, но придет ли она?

Мео снова отправляется на кухню. Он бросает взгляд на дверь в горницу, посмотреть, там ли Леда. Но Леда, оказывается, у плиты. Она сняла конфорку, и в руках у нее восемнадцать квадратиков белой материи, украшенных свинцовыми звездами.

Мать бросает дорогие ее сердцу воспоминания в огонь, одно за другим. Прodelывая это, она произносит имена каждого из детей, которых она родила. Имена, которые она собиралась им дать. Имена, о которых она мечтала ночами. Но детям так и не довелось их носить, эти имена. Никто другой, кроме нее, никогда не узнал имена, которые могли бы быть у ее детей.

Даже свинец плавится, не в силах устоять перед натиском огня. Едкий дым наполняет дом. Дым ползет вверх по рукам Леды, подымается ей до плеч, и те расправляются прямо на глазах. Когда дым добирается до лица



женщины, она слегка отклоняется, но остается на месте и вдыхает его.

По мере того как белые квадратики обращаются в прах, облик матери меняется. На пятом квадратике, квадратике Фернана, высыхают ее глаза. На девятом, Фернанды, еще заметней расправляются плечи. На двенадцатом, Люсьена, все ее тело расслабляется. На пятнадцатом, Люсьены, кисти рук перестают дрожать. На шестнадцатом — чей он, она уже не помнит — выражение горечи сползает с ее губ. На семнадцатом по лицу ее разливается спокойствие. На восемнадцатом черный огонь потухает в ее глазах.

Потом она смотрит на Мео, и Мео поражен той безмятежностью, что исходит от лица и всего облика матери. Она выглядит еще более отдохнувшей, чем какой она бывала, когда несколько недель кряду ей не приходилось сносить побои.

— Я поеду в деревню,— говорит Мео.— Кобыла пока у дверей.

— Тогда уж лучше возьми двуколку,— говорит Леда.

Мео одевается и выходит. Кобыла шествует перед ним до самого входа в хлев. Мео вывозит двуколку, и кобыла сама встает в оглобли. Кобыла возвращается к дому и поджидает там Мео. Мео входит в дом надеть дедову шубу. Он зовет мать, чтобы та помогла ему ее найти. Леда выходит из комнаты Феликса и спешит на чердак, где хранится меховая одежда. Она радостно суетится, умиротворенная, счастливая от мысли, что сыну ее наконец послужат все эти доньяне без толку пылившиеся богатства. Она помогает Мео влезть в шубу, застегивает на нем обтянутые шелком пуговицы. Еще чуть-чуть — и она улыбнется. Она любит Мео, ставшим вдруг толстым и неуклюжим. Похожим на снеговика.

— На дворе еще холодно,— говорит она,— но дорогу развезло.

Из комнаты доносится голос. Леда слышит и торопится завершить одевание Мео. Зов слышится снова.

— Иду,— откликается она,— вот только помогу Мео одеться — он едет за доктором.

Мео ныряет в двуколку. Укутывает ноги полостью. Вожжи он не берет: руки у него в карманах. Он не говорит ни слова. Кобыла трогается сама.

На дороге бубенцы начинают звенеть веселей, словно сгущающиеся над синью снега сумерки полны невысказанной радости. Немного погодя Мео произносит вслух:

— Решено. С сегодняшнего дня я буду ездить в деревню когда захочу.

# Содержание

- 5    *Олег Васильев. Утверждая национальный характер*
- 10   *Хью Гарнер. Рыжий скакун. Перевод с англ. Ю. Родман*
- 24   *Маргарет Лоренс. Не спешите, кони ночи... Перевод с англ. Ю. Родман*
- 49   *Фредерик Филип Гроув. Снег. Перевод с англ. Ю. Родман*
- 60   *Джойс Маршалл. Старушка. Перевод с англ. Ю. Родман*
- 75   *Питер Беренс. В Монреале. Перевод с англ. Ю. Родман*
- 83   *Элистер Маклеод. Катер. Перевод с англ. Ю. Родман*
- 105   *Маргарет Этвуд. Украшения из волос. Перевод с англ. А. Михалева*
- 128   *Ив Терио. Остров-невидимка. Перевод с франц. Ю. Родман*
- 146   *Жерар Бессет. Горчичник. Перевод с франц. В. Орлова*
- 159   *Наим Каттан. Продавец игрушек. Перевод с франц. В. Каспарова*
- 170   *Жан-Жюль Ришар. Парень думает о милой. Перевод с франц. В. Орлова*

**К19      Канадская новелла/ Пер. с англ. и франц.  
Сост. В. Каспарова, В. Орлова, Ю. Родман.  
Предисл. Олега Васильева.— М.: Извес-  
тия, 1986.— 192 с. (Библиотека журнала  
«Иностранная литература»)**

Данный сборник знакомит с рассказами англо- и франкоязычных писателей Канады, представителей разных поколений художников слова. Разнообразные по тематике и стилистике, новеллы повествуют о суровом быте жителей глубинки — рыбаках, лесниках, фермерах, о безрадостной жизни жителей больших городов.

**К    4703000000—043    66—86  
      074(02)—86**

**ББК 84. 7 Кан  
И(Канад)**

## КАНАДСКАЯ НОВЕЛЛА

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *А. Николаевская*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1002

---

Сдано в набор 01.03.85. Подписано в печать 17.05.85. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,8. Усл. кр.-отт. 15,9. Уч.-изд. л. 8,57. Тираж 50000 экз. Зак. № 275. Цена 1 р.

---

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

---





**ХЬЮ ГАРНЕР (1913—1979)** — вырос в бедной семье в пригороде Торонто. В шестнадцать лет оставил школу и в поисках работы исколесил почти всю страну. Сражался в Интернациональной бригаде в Испании. Автор нескольких романов, в частности "Молчание на берегу", "Не тратьте слез", и большого числа рассказов.

#### **МАРГАРЕТ ЛОРЕНС**

(род. в 1926 г.) — известная канадская писательница, автор романов "Каменный ангел", "Птица в доме" и ряда других; опубликовала два сборника рассказов и несколько сборников стихов.

#### **ДЖОЙС МАРШАЛЛ**

(род. в 1913 г.) — романистка, переводчица. Живет в Торонто, написала книги "Настоящее завтра", "Любовники и незнакомцы".

#### **ФРЕДЕРИК ФИЛИП ГРОУВ**

(1879—1948) — романист, автор книг, в частности "Хлеб наш насущный", "Бремя жизни", нескольких сборников рассказов, очерков о природе.

#### **ПИТЕР БЕРЕНС**

(род. в 1954 г.) — молодой прозаик; рассказ "В Монреале", являющийся его литературным дебютом, был опубликован в сборнике "Лучшие канадские рассказы" (1978).

#### **ЭЛИСТЕР МАКЛЕОД**

(род. в 1938 г.) — вырос в семье шахтера, после окончания университета преподавал в школе, сейчас преподает в университете английский язык.

#### **МАРГАРЕТ ЭТВУД**

(род. в 1939 г.) — поэтесса, романистка, автор рассказов, стала широко известна в середине 70-х годов.

#### **ИВ ТЕРИО (1915—1983)**

— автор более 25 книг, прежде чем стать профессиональным писателем сменил множество профессий.

#### **ЖЕРАР БЕССЕТ (род. в 1920 г.)**

— преподаватель французского языка и литературы в Королевском университете в Квебеке. Его романы и новеллы затрагивают социальные и психологические проблемы современности.

#### **НАИМ КАТТАН (род. в 1928 г.)**

— критик и эссеист, в настоящее время возглавляет Литературный отдел Канадского Совета по искусству; художественную прозу стал писать в конце 70-х годов.

#### **ЖАН-ЖЮЛЬ РИШАР**

(1911—1975) — автор нескольких романов и сборника рассказов "Красный город". Ришар солдатом сражался против фашизма.